

Последние
годы
Федора
Достоевского

— . —
Вл.
ЖЕЛЕЗНЯК

Вл. ЖЕЛЕЗНЯК

**Последние
годы
Федора
Достоевского**



Новеллы о Ф. М. Достоевском относятся к жанру документально-художественной прозы. Много лет В. С. Железняк работал над ними, стремясь приблизить к читателю духовный облик великого писателя. Большая часть вошедших в сборник новелл уже публиковалась в периодике.

Исторические миниатюры составили второй раздел сборника — «В старой Вологде».

Ж 70603 30—83 4803010102
М157(03)—83

**Страницы
жизни
Достоевского**

— • —
ЦИКЛ
НОВЕЛЛ



ОТ АВТОРА

Цикл новелл о Федоре Достоевском охватывает последний период жизни великого писателя.

Работу эту я начал в 1945 году. Первые главы были посланы в 1946 году в московский музей-квартиру Ф. М. Достоевского. В ответном письме от 25 ноября 1946 года В. С. Дороватовская-Любимова писала: «Главы произвели на меня хорошее впечатление. Мне понравились в них осторожность и такт, с которыми Вы подходите к материалу...»

Это явилось стимулом для дальнейшей работы. В 1957 году 15 февраля в музее Достоевского был устроен вечер, на котором я выступил со своими новеллами, получившими доброжелательную оценку.

Цикл «Последние годы Федора Достоевского» строится по двум линиям: в одних новеллах автор идет от документа, в других действуют вымышленные персонажи, поставленные в обстоятельства, связанные с биографией писателя.

Охватить всю глубину сложной личности Ф. М. Достоевского — задача вряд ли посильная для цикла новелл. Поэтому в нем нашли отражение лишь отдельные моменты из жизни писателя.

Вл. Железняк

СВАДЬБА

В соборе Достоевский не находил себе места: вдруг не придет, откажется? Одергивал на груди манишку ослепительной белизны и спрашивал своих шаферов Страхова и Аверкиева: «Ну как, друзья, почему нет невесты?» Улыбался насильственно: «Не будет ли как в водевиле — старик перед свадьбой теряет невесту, похищенную молодым гусаром?..»

Друзья успокаивали. Аверкиев нежным голосом: «До Песков далеко, ваш племянник расторопен, привезет». Страхов солидно: «Нервы, милейший друг, всё — нервы».

В соборе уже собирались приглашенные. В канделябрах зажигались свечи. На клиросе регент вполголоса поучал певчего. В алтаре покашливал дьякон.

Троицкий собор, бывший Измайловского гвардейского полка, обширный и гулкий, казавшийся сначала слишком казенным, теперь, при ярком освещении и нарядных гостях, изменился и выглядел торжественно.

Известный в литературных кругах Милюков, способный видеть во всем смешное, сказал соседке: «Скоропалительное предложение Федора Михайловича может кончиться без шампанского». Та ударила его перчаткой по плечу: «Не злословьте, посмотрите на бедного жёниха».

Достоевский ушел в притвор, прислонился к холодной стене, а в мозгу — ералаш: «Обманет. Не придет, Это возмездие». Зачем нафантазировал про Анну Васильевну Корвин-Круковскую, якобы согласную быть его женой. Зачем? Ведь на самом деле ему отказали

и он видел, как Сонечка, младшая сестрица Анны Васильевны, чуть не плакала, — так она ему сочувствовала. Конечно, Корвин — девица с норовом, с идеями, с блажью. Но она ему нравилась. Нравилась, нравилась...

Стоит у стены и шепчет: «Нравилась, нравилась...»

Ну, а взять Анну Григорьевну... В ней много ребяческого. Двадцать первый год... Да не в годах дело. Аня Сниткина помогла закончить «Игрока» в предельно короткий двадцатидневный срок, стенографировала «Преступление». Милая она, тихая, простая, а старается держаться по-светски!

Огляделся по сторонам. Светло. Канделябры, лампы у икон, ризы сверкают. Понаехало много публики, любопытствуют... На смех поднимут, на смех... Хотелось выбежать из собора, нанять санки и вихрем на Костромскую улицу, к невесте. А если та откажется, он не выдержит, наскандалит.

Весь задрожал от мысли, от негодования, что его могут обмануть. А он-то хотел вверить ей свою жизнь — он, Достоевский!

— Федор Михайлович, где ваша прелестная избранница?

Как в тумане, видит пожилую даму и господина с бакенбардами. Кто такие? Кажется, супруги Кашины. А может, не они?..

Достоевский вежливо шаркает ногой и вдруг повторяет слова Аверкиева:

— От Песков ехать далеко, но мой племянник Федя расторопен...

А расторопный Федя, Федор Михайлович младший, шафер невесты, в сердцах ругал кучера, заплутавшего на Песках. Останавливались, спрашивали прохожих, где Костромская улица. Наконец нашли. Федя, как был, в меховой шинели, ворвался в квартиру невесты.

— Анна Григорьевна, вы готовы? Ради бога скорее, дядя давно в церкви.

Анна Григорьевна, напуганная тем, что пробило семь часов, — время свадьбы, — а нет шафера, дрожа, сидела в зале, окруженная родственниками. Она — в подвенечном платье из белого муара с длинным шлейфом. В лучистых серых глазах тревога. Лицо от волнения кажется похудевшим.

— Но ведь мальчика еще не привезли, — робко заметила невеста.

По традиции мальчик на свадьбе должен нести впереди новобрачных икону. Для этой роли выбрали Костю — сына преподавателя стенографии Ольхина.

— Ладно, обойдемся и без мальчика! — торопил Федя. — Дядю надо успокоить.

Мать благословила и крепко расцеловала дочку. Анна Николаевна, урожденная Мильтопеус, шведка по происхождению, не была сентиментальной. Она не страшилась за судьбу Ани, отдаваемой за малообеспеченного, обремененного долгами вдовца. Не смущало ее и то, что вдовец был отбывшим срок каторжником. По воле монарха (а высочайших особ Анна Николаевна уважала — покойный муж ее был служителем при императорском дворе) Достоевскому возвращено дворянское звание и офицерский чин. Значит, и Аня и ее дети станут потомственными дворянами.

Конечно, дочка могла бы сочетаться браком со скромным молодым конторщиком книжного магазина, давно ухаживающим за ней. Но что значит какой-то, пусть даже образованный, приказчик? В лучшем случае он добьется места управляющего или хозяина книжной лавки, и все... Кем будет окружена молодая женщина? Конторщиками, приказчиками, чиновниками... Для чего же тогда Аня кончила гимназию с медалью, для чего изучала стенографию? Конечно, девушка, по понятию Анны Николаевны, должна уметь сама зарабатывать себе на карманные расходы. Но основа семьи — муж. А как жена писателя Достоевского Аня будет принята в хорошем обществе. Что же касается родственников Федора Михайловича, — Аня сумеет от них деликатно отделаться. У нее твердый характер матери, хотя отец — о милый Григорий! — был истинным славянином, добрым, мечтательным. Он любил русскую литературу и искусство и еще много лет тому назад предвещал успех юному тогда Достоевскому. И у Ани есть эта русская черта — увлекаться литературой, театром... Во всяком случае о конторщике не надо знать зятю.

— Мамоchка, о чем ты? — прервала ее размышления дочка.

— О своем думаю, Анечка.

И они еще раз обнялись.

— Скорее, Анна Григорьевна, вы прямо-таки задерживаете всех! К счастью, и ваш мальчик пришел.

Костя — белокурый, синеглазый, в красной шелко-

вой рубашке, в бархатных штанишках, в лакированных сапожках — важно оглядывал собравшихся.

Мария Григорьевна Сватковская, старшая сестра Ани, повела ее к карете. На лестнице собрались жильцы. Еще бы, дочка домовладелицы выходит замуж! Аню жильцы уважали за самостоятельность. Все это были люди небогатые, труженики, и они ценили в девушке, что та не «вертихвостка», не «кукла разнаряженная», а человек. Невесту целовали, желали счастья, осыпали ее хмелем.

Когда карета тронулась, Аня заметила, что впопыхах на мальчика забыли надеть не только шубу, но и шапочку и прикрыла Костю широким салопом.

Федя смотрел в окно кареты... «Да. А дядя-то молоденькую захороводил, в дочери самый раз».

Мамаша Эмилия Федоровна недели две пела Феде: «Теперь нам туговато придется. Дядя жену молодую берет. Эпилептик, а хочет заводить семью! Он обязан обеспечить нас — вдову старшего брата и племянника».

Федя вздохнул, но совсем не о том: «Невесту жалко, трудно ей будет. Паша на правах дядиною пасынка постарается отравить жизнь молодой». Федя хорошо знал двадцатилетнего Пашу — Павла Александровича Исаева, уверенного в том, что старый «папа» обязан содержать его и доставлять ему удовольствия. Еще вчера Паша зашел к Эмилии Федоровне и потешался над отчимом, и Миша и Катя смеялись вместе с ним. Эмилия Федоровна слабо возражала — «не обижайте дядю!» — но про себя, видимо, соглашаясь с Пашей. «А в конце концов почему дяде и не венчаться? — рассуждал Федя. — Это мамаше кажется, что нельзя, а по мне — дядя еще молодец, когда в ударе: и анекдот расскажет, и станцует». В общем Федя склонялся на сторону дяди.

Меж тем карета подъехала к Измайловскому собору. Лакей соскочил с козел и помог невесте выйти. Федя завернул Костю в свою шинель и осторожно понес его по ступеням в собор.

Как только Достоевский увидел невесту, он все позабыл.

— Приехала! Не обманула! Голубчик! — подбежал с мучительной улыбкой на лице к Ане и не замечая, что она держала спрятанный в фату образ, крепко схватил ее за руку, так крепко, что она вскрикнула. — Наконец-то я тебя дождался!

У Ани сердце содрогнулось от жалости и нежности к нему. Все дальнейшее воспринималось как сон: и басовитые возгласы дьякона, и тихие мелодичные теноровые слова священника, и радостные хоровые напевы «Гряди, гряди, голубица», и «Исайя, ликуй». Она стояла рядом с женихом, чуть слышно отвечая на вопросы священника, и вздрогнула, почувствовав золотое кольцо на пальце.

После венчания и благодарственного молебна чета Достоевских вместе с мальчиком и с иконой отправилась в карете на квартиру. Там уже все было приготовлено к приему. Посажённый отец поэт Аполлон Николаевич Майков и мать невесты благословили молодых. Потом началась веселая шумиха. Поднимали бокалы с шампанским, кричали «горько», громко смеялись. Шампанского было вдоволь. Стол был уставлен закусками, вазами с шоколадными конфетами, фруктами.

Федор Михайлович угощал приглашенных широко и радушно. Он сделался удивительно веселым, обаятельным. Для каждого находил любезные слова, и Федя младший, отозвав в сторону Пашу Исаева, иронически заметил: «Вчера, Павел, ты называл этого веселого человека стариком. Не ошибся ли ты, мой милый?»

Аня, видя, что и пожилые гости, и молодежь в восхищении от ее мужа, раскраснелась и вся сияла счастьем.

— Но ведь она прехорошенькая! — сказал Аполлон Николаевич Майков.

Он и до этого несколько раз видел Аню, когда та стенографировала «Игрока». Но в скромном черном платье (Аня носила траур по отцу) она показалась ему обыкновенной петербургской девицей. А тут ее как будто подменили. Та да не та — метаморфоза!

Достоевский подводил Аню к друзьям.

— Посмотрите, какая она у меня прелестная, чудесный человек, золотое сердечко.

В двенадцатом часу гости распрощались с хозяевами. Когда новобрачные остались вдвоем, Федор Михайлович обнял Аню и усадил ее рядом с собой.

— Голубчик! Анечка! Значит, ты моя на всю жизнь?

— На всю, конечно! — Она взяла его руку и прижалась к ней щекой. — На всю, конечно!

— Твоя жизнь еще впереди. Ты, даст бог, и в двадцатом веке поживешь, а я...

— Не надо мрачных мыслей, — прервала его Аня,
— К слову пришлось. А так я доволен, ах, Анечка,
бесконечно доволен!

За окнами был петербургский выюжный февраль
1867 года.

СЕМЕЙНАЯ «ИДИЛЛИЯ»

Семейная жизнь Достоевских после свадьбы пошла кувырком. Не было дня, чтобы новобрачные смогли остаться с глазу на глаз, поговорить по душам, как было в дни жениховства. Всегда у «молодых» торчали родственники: брат Николай, больной человек, постоянно нуждающийся в помощи Федора Михайловича, сестра Александра, семья старшего брата во главе с Эмилией Федоровной, чопорной ревельской немкой. А тут еще у Федора Михайловича участились припадки эпилепсии.

Недели через две после свадьбы некий доброжелатель сообщил Достоевским, что в газете «Сын Отечества» появился бойко написанный фельетон под хлестким заголовком «Женитьба романиста», где юмористически рассказывалась история сватовства «одного из известных наших романистов» к «привлекательной и молодой стенографше». Там живописалось, как литератор, диктуя свое произведение, дергал себя за волосы («волосы уже начинали значительно страдать от этого»), как у него не получался конец романа, как «стенографша» советовала автору довести героев до взаимной любви и так далее. И хотя Аня с Федором Михайловичем посмеялись над фельетоном, который, как предполагал Достоевский, написал Милюков (его пошловатый тон), но все это было неприятно.

Аня старалась хозяйничать, сама ходила со служанкой на рынок, но Эмилия Федоровна и Паша Исаев доказывали Федору Михайловичу, что молодая хозяйка неэкономна, что ей нельзя доверять все деньги.

Эмилия Федоровна твердила также Достоевскому о том, что его молодой жене гораздо веселее с молодежью, чем с ним:

— Вы, Федор Михайлович, предоставьте ей свободу, а то быстро надоедите... Пусть ваша жена веселится с племянниками.

Аня видела, что «милые» родственники составили против нее заговор. Один Федор Михайлович младший,

ученик консерватории, натура творческая, сочувствовал Достоевским, но с его мнением никто не считался.

Павел Исаев был охоч до всяких злых каверз. А мало ли чем можно при желании отравить жизнь своих близких! В сущности, Паша по-своему любил отца и гордился им, но он привык жить за счет «папы», и мачеха раздражала его.

— Я остался сиротой. Она отняла у меня отца, — жаловался он родственникам.

И вот был такой вечер — вторник на пятой неделе великого поста... В квартире обычная толчея. Паша устроил очередной «фокус»: пропали все карандаши с письменного стола. Федор Михайлович сердился и даже хлопал дверьми. Без него Паша говорил мачехе дерзости:

— Вы погубите папá! Без вас, Анна Григорьевна, соблюдался равномерный порядок!

У Ани разболелась голова, и она отказалась ехать с мужем в гости к Майковым. Достоевский обиделся и уехал один.

Не раздеваясь, Аня упала на кровать и залилась слезами. Сердце стучало, и в голове стучало, а слезы все лились и лились. Сколько так прошло времени, она не заметила. В спальне темно, на дворе слякотный март. «Может быть, перед весной нервы расшатались? Весна... Будет ли у меня весна? Почему в свои двадцать лет я должна мучиться? Но ему скучно со мной, я ему не нравлюсь. Нет, не нравлюсь».

Лежала долго и не могла заснуть, слышала, как пришел муж, как спрашивал у Федосьи: «Где барыня?» И Федосья громким шепотом ответила: «Они в постели, плачут-с». И опять голос мужа: «С чего, не знаешь?» — «Не сказывали, а только в три ручья!»

Эта Федосья — вдова с маленькими детишками — благоговела перед Достоевским. Он часто, работая по ночам, приходил на кухню, и если видел, что кто-нибудь из ребят не спит, успокаивал, закрывал одеялом. «Добрый человек, не то что Павел Александрович, а в гневе — в гневе страшный», — говаривала Федосья молодой хозяйке, кутаясь в старый зеленый в клетку платок, который напоминал Анне знаменитый драдедамовый платок в семействе Мармеладовых.

От разговора мужа с Федосьей ей сделалось легче: значит, не так уж она безразлична ему.

Скрипнула дверь. Федор Михайлович подошел к постели, наклонился и поцеловал жену в щеку.

— С чего ты, голубчик Анечка?

И тогда ее словно прорвало, все выложила, всю муку: и об Эмилии Федоровне, и о Паше Исаеве, и о своей тоске. И выяснилось, что и муж тоскует по их прежним беседам, что и он скучает без нее.

Федор Михайлович присел на кровать, обнял жену за плечи.

— Знаешь, Анечка, тяжело здесь. Поедем в Москву! А? Мне там надо по литературным делам побывать в «Вестнике». И московские родные обрадуются: Верочка-сестра и Соня-племянница, девица умная, даровитая. Они хорошие, веселые, гостеприимные. Посмотришь белокаменную — мою родину.

В полутьме Аня различала его лицо и глаза, ласково смотрящие на нее. Федор Михайлович убеждал:

— На Пашу не обижайся, он молод еще, твой ровесник. Я перед ним виноват, мало уделял внимания. Да... — Помолчал. — А с деньгами, дай бог, образуется. Можно еще у Каткова аванс взять под новый роман. Я обязательно новый роман буду писать, — так вот под него аванс попрошу. Проценты по долгам уплатим, Эмилии Федоровне и Паше на жизнь оставим. А мы с тобой после Москвы месяца на три за границу съездим. Согласна? Анечка?

— Спасибо, Федя, — отозвалась она дрогнувшим голосом. — Я тебя всегда, всегда буду уважать и любить. Только не надо сторониться меня. Не надо!

На другой день Достоевские выехали в Москву.

МОСКВА

На московских улицах еще лежал снег, но днем уже капало с крыш, неугомонно озорничали воробьи, у Манежа гуркали голуби, и гимназисты успели сменить зимние шинели на летние. Великий пост не кончился, и из кухмистерских и трактиров распространялись запахи жареной рыбы и грибных щей.

Достоевские остановились в первоклассной гостинице Дюсса. Отдохнув с дороги, поехали в Межевой институт, где жили Ивановы, — сестра Вера с мужем. Ехали на санках до Мясницкой, по Петровке. Федор Ми-

хайлович был в хорошем расположении духа. И весенний воздух, и улицы родного города с его самобытной архитектурой (Достоевский показывал Ане наиболее примечательные храмы и особняки), и то, что жена оделась щегольски, по моде, раскраснелась и выглядела особенно привлекательной, — все ему нравилось.

Аня же втайне побаивалась визита в семью Веры Михайловны. И страхи ее оказались не совсем напрасными. Сама Вера Михайловна и ее муж доктор Александр Павлович гостеприимно встретили Аню, зато Соня, ровесница Ани, любимица дяди-писателя, и другие племянницы отнеслись к молодой тетке настороженно и с холодком.

Но главные огорчения ожидали Аню впереди. Началось все с модной тогда игры в стукалку. В ожидании ужина гости постарше и с ними Федор Михайлович устроились в кабинете хозяина за серьезным преферансом, а молодежь веселилась в зале. Рядом с Аней поместился юноша, который во время игры проявлял к ней особое внимание. Мило болтая с ним, Аня не заметила, что Достоевский несколько раз выходил из кабинета, бросая на них ревнивые взгляды. И за ужином юноша оказался соседом Ани, а Федор Михайлович сидел напротив и был очень угрюм. Напрасно Аня пыталась втянуть мужа в общий разговор.

Сразу же после ужина Федор Михайлович произнес: «Нам пора», — и, сухо простившись с хозяевами, увез жену. Всю дорогу они молчали. Лишь в номере гостиницы Аня, напуганная мрачными взглядами мужа, робко спросила:

— Федя, ты сердишься? — и тут же отступила, увидев страшное, искаженное гневом лицо мужа.

— Ты посмела надо мной издеваться? — Он угрожающе поднял вверх сжатые кулаки. — Ты — бездушная кокетка! Я поступил глупо, соединив свою судьбу с твоей! Отвечай: зачем ты перемигивалась с этим юнцом? Конечно, смазливенький мальчик — не старик, замученный работой!..

— Федя! — Аня сложила руки ладонь на ладонь. — Что ты, опомнись! Я люблю тебя...

— Молчать молчать, я приказываю! — Достоевский забыл, где находится, и кричал громко, на всю гостиницу. — Молчать!

— Федя!

Но муж оттолкнул ее, и Аня упала на диван. Упала и разрыдалась.

Слезы сразу же подействовали на Достоевского.

— Прости меня, Анечка, голубчик! — Федор Михайлович опустился на колени перед диваном. — Прости! Мне показалось... Прости глупого ревнивца.

Заснула Аня только под утро и проспала до часу. Достоевский ждал ее пить кофе. Был предупредителен и деликатен. Старался, чтобы жена забыла вспышку ревности.

Через два дня Аня поехала навестить брата Ивана — студента Петровско-Разумовской академии. Достоевский был занят литературными делами в редакции «Русского вестника» и предупредил, что будет ждать Аню с братом к обеду к четырем часам.

Усадив жену в санки, Федор Михайлович записал номер извозчика.

— Ты с ним и обратно возвращайся, — наказал он.

Но в студенческих комнатах академии Аню стали угощать чаем, заспорили о литературе, о Достоевском, о «Преступлении и наказании», — время бежало незаметно. Извозчик не дождался и уехал. Пришлось идти пешком до Бутырок, где была извозничья стоянка. Лишь к половине седьмого Аня с братом доехали до гостиницы.

В номере Федора Михайловича не оказалось. Швейцар сообщил, что «барин, почитай, уже три часа стоят на перекрестке, на всех извозчиков смотрят!»

Аня побежала на перекресток, схватила за руку мужа и, как ребенка, привела в гостиницу.

Обедали втроем. Брат извинился за невольную задержку. Когда он ушел, Аня спросила:

— Ты, Федя, очевидно, думал, что я убежала с каким-нибудь студентом?

— Ну что ты, что ты выдумываешь, — отвел он сконфуженно глаза в сторону.

На одном из вечеров у Ивановых доктор Александр Павлович рассказал Ане о предсмертных приступах помешательства у первой жены Достоевского — Марьи Дмитриевны.

— Это была фантастическая женщина, с трудным характером, страстная и экзальтированная. Мы боялись

оставлять с нею Пашу. Мальчик проводил каникулы у нас. Как медик жалею бедную женщину. Подумайте, в последнем градусе чахотки, да еще мозговое расстройство! Федору Михайловичу нелегко приходилось с ней. В болезненном раздражении Марья Дмитриевна нередко становилась перед его портретом и восклицала: «Каторжник! Каторжник!»

— А первого мужа она любила? — спросила Аня.

— Не знаю. Прислуга передавала, что и покойного Исаева больная обзывала презрительными кличками. Только, пожалуйста, Анна Григорьевна, не рассказывайте о нашем разговоре мужу.

— Конечно, нет. Зачем я буду восстанавливать его против памяти Марьи Дмитриевны!

В Москве Достоевские побывали в Грановитой и Оружейной палатах, в Кремлевском дворце, в соборах, на Воробьевых горах. Съездили на Лазаревское кладбище, на могилу матери Достоевского.

Федор Михайлович, чтобы познакомить Аню с московской кухней, возил ее в знаменитый ресторан Тестова, где половые в белых вышитых рубашках подавали им и растегаи, и стерляжью уху, и подовые пирожки с налимьей печенкой, и московскую селянку. И Достоевский был очень доволен, когда Аня хвалила то или иное кушанье.

В редакции Федору Михайловичу повезло. Катков согласился выдать ему аванс в тысячу рублей. И в вербную субботу Достоевские покинули Москву.

НА ЧУЖБИНЕ

I

Петербург встретил Достоевских нерадостно. После Москвы пришлось привыкать к прежним стычкам с Эмилией Федоровной и Павлом Исаевым. Родственников возмутило желание Федора Михайловича и Ани ехать за границу. Как дождь с петербургского неба, посыпались требования — обеспечить семьи Михаила и Николая Михайловича, дать денег Павлу Исаеву, уплатить проценты по долгам...

— Вы ответственные, Федор Михайлович, перед памятью старшего брата, — внушительно заявила Эмилия

Федоровна. — Чем исполнять фантастические прихоти молодой жены, лучше снять дачу под Петербургом и переехать туда всей семьей. А я, — она изобразила улыбку на своем лице, — возьму на себя труд хозяйки, освобожу от домашних забот милую Анну Григорьевну.

Мать Ани дала дельный совет: когда дело касается благополучия семейной жизни, надо рисковать имуществом. Было решено заложить Анино приданое: серебряные и золотые вещи, сервиз, новую мебель, посуду, выигрышные билеты.

Федор Михайлович радовался.

— Ах, Аня, голубчик, как хорошо распорядилась твоя мама! Искренняя ей благодарность.

И удовлетворив процентами кредиторов, раздав деньги родственникам, Достоевские с небольшой суммой на первое время отбыли четырнадцатого апреля в Саксонию.

За границу они собирались на три месяца, а пробыли там четыре года. Это были знаменательные годы для судеб Европы. Гремела слава освободителя Италии Джузеппе Гарибальди. Над Европой поднимался бронированный прусский кулак. Во Франции росло недовольство авантюристическим режимом Наполеона Третьего. Разразилась франко-прусская война. В Женеве состоялся первый конгресс Лиги мира и свободы. Крепла деятельность Интернационала, руководимого Карлом Марксом. Русский эмигрант Березовский стрелял в Париже в Александра Второго. В России раскрылось нечаевское дело. Героически возникла и погибла на баррикадах, пронзенная штыками оголтелой буржуазии, Парижская коммуна.

За эти четыре года Федор Михайлович написал роман «Идиот». Кроме того, им была написана статья о Белинском, роман «Вечный муж» и начаты «Бесы».

II

Годы странствий по-настоящему сблизили Достоевских. Сначала они жили в Дрездене, потом переехали в Баден-Баден.

Ах, этот Баден-Баден! Федор Михайлович за пять недель здесь сделался рабом рулетки. Последовали заклады вещей, носильного платья, просительные письма к друзьям и проигрыш полученных денег...

Федор Михайлович каялся в проигрышах, становился перед женой на колени, целовал руки, обещал исправиться. И тогда наступали хорошие дни, памятные как праздники: по лесным тропинкам супруги доходили до замка Эренбрейштейн верстах в восьми от города, там обедали, говорили об искусстве, о картинах Дрезденской галереи.

И Федор Михайлович и Аня помнили каждую понравившуюся картину. Достоевскому очень понравились картины Клода Лоррена * с озерами, реками и арочными мостами, с ландшафтами, оживленными сюжетами на мифологические или библейские темы. Особое внимание вызвала у Федора Михайловича картина «Морская бухта», написанная в ясном серебристом тоне и изображающая Ациса и Галатею. Эту картину он называл «золотым веком — мечтой человечества».

И конечно, высочайшим проявлением человеческого гения Достоевский считал «Мадонну» Рафаэля. Умиленный и растроганный, он подолгу простаивал перед этой картиной, и Ане казалось, что Мадонна с младенцем на руках как бы несется навстречу им.

III

Из Баден-Бадена Анна Григорьевна была рада уехать куда угодно, хоть на край света. И наконец, заложив вещи и получив по почте сто рублей от брата Ани Ивана, Достоевские выехали в Женеву.

По дороге была пересадка на станции Осс, и Федор Михайлович решил остановиться на сутки в провинциальном готическом городке Базеле для осмотра тамошней картинной галереи. Его интересовала одна из работ Гольбейна **. Это была картина, написанная на доске, одна из восьми работ цикла «Страстей христовых», представляющая потрясающее зрелище: лежащее навзничь тело Иисуса Христа, вопреки традиции, уже тронуту дыханием тления, вспухшее избитое лицо покрыто кровавыми ранами, волосы откинuty назад, рот искривлен...

* Картины Клода Лоррена (1600—1682) имеются в собраниях Дрездена, Мюнхена, Лувра, Рима, Лондона, Мадрида. В нашем Эрмитаже — «Утро», «Полдень», «Вечер» и «Ночь».

** Ганс Гольбейн Младший (1497 или 1498—1543) — немецкий живописец и график.

Аня была не в силах смотреть на картину и ушла в другие залы, а Федор Михайлович остался перед ней. Через двадцать минут жена застала мужа в той же позе в состоянии ужасного потрясения.

Уходя из галереи, он сказал:

— От такой картины вера может пропасть.

В Женеве Достоевские сняли комнату на квартире у двух старушек, живущих на улице Вильгельма Телля. Здесь у Федора Михайловича возникла идея первого варианта «Идиота» по прочтении в газете «Голос» дела каширских чиновников Умоцких, истязавших своих детей. Эти истязания довели пятнадцатилетнюю Ольгу до попытки поджога барского дома. И вначале Достоевскому хотелось сделать Ольгу героиней своего повествования. Но потом все изменилось. Аня с тревогой наблюдала, как мучительно искал Федор Михайлович правильные решения.

О своих сомнениях он писал Майкову и любимой московской племяннице Софье Александровне Ивановой. И убедительно просил своих друзей сообщить ему об уголовных процессах, особенно о процессе купца Мазурина, убившего ювелира Калмыкова.

— Нельзя пренебрегать репортерскими заметками, — говорил он жене. — Никак нельзя, Анечка. В газете отражается повседневность теперешней страшной жизни, где властвует жажда денег и наслаждений. С деньгами и дурак исполин, Анечка...

Он находился в постоянном волнении. Волновался, когда не удался первый вариант «Идиота». Волновался, когда хворала жена, и даже — когда менялась погода.

— Опять ветер и дождь, — шептал страдальчески.

Аня утешала:

— Да не вечно же будет дождь.

— Не знаю, не знаю, но мне тяжело!

В сентябре Достоевские были свидетелями приезда в Женеву на конгресс Лиги мира и свободы Джузеппе Гарибальди. Городской муниципалитет устроил ему торжественную встречу с флагами, цветами, оркестром. Вождь молодой Италии стоял в экипаже и приветливо размахивал своей знаменитой «гарибальдийской» шапочкой.

Когда работа не клеилась, Достоевский, чтобы встряхнуться, посещал рулетку в Саксе, в пяти часах езды от Женева. Однажды выиграл тысячу триста франков и, как всегда, сразу же все проиграл. Аня не упрекала мужа, понимая, что такая встряска нужна ему для разрядки от творческого напряжения, и надеясь, что в конце концов Достоевский «переболеет азартом».

Так и вышло. Через год Федор Михайлович совершенно перестал играть в рулетку.

В конце декабря Достоевский, несмотря на протесты жены, сжег первую редакцию романа «Идиот».

— Не уговаривай. Не могу оставить. Стыдно. Слабо. Не так надо было писать. Надо уничтожить.

И начались новые мучительные поиски. Создавалось бессмертное произведение русского гения. А в это время по таможенным Российской империи «совершенно секретно» распространялось отношение управляющего Третьим отделением собственной его величества канцелярии о том, что «при возвращении в Россию отставного поручика Федора Достоевского задержать на границе, тщательным образом осмотреть и, в случае нахождения недозволенного, немедленно представить арестованным местному начальству для доставления в Третье Отделение».

Впоследствии Достоевских анонимно предупредили об этом. Но тогда они еще ничего не знали. И Аня радовалась, что рукопись успешно подвигается. Она чувствовала, что Федор Михайлович пишет вещь замечательную, и гордилась своей судьбой, хотя сам автор был снова недоволен и говорил, что «идея глубже исполнения». И все же накануне нового года, двадцать четвертого декабря, Достоевский с письмом отослал в редакцию «Русского вестника» первые главы «Идиота».

Вечером 31-го декабря Аня приготовила сюрприз мужу. В половине одиннадцатого вечера (по-московски — в двенадцать) она поставила на чайный столик четверть бутылки шампанского, и они, по словам самого Федора Михайловича, «чокнулись вдвоем, уединенно, одни одинехоньки».

Работа над романом продолжалась. Достоевский диктовал Ане все новые и новые главы. И маленькая

квартирка на улице, носящей имя Вильгельма Телля, тепло светилась по вечерам своими огнями.

В Женеве Достоевским довелось испытать и радость рождения дочери и перенести страшное горе. Соня родилась в феврале, а 12-го мая ее уже не стало. Федор Михайлович, оказавшийся, по свидетельству жены, нежнейшим отцом, трагически переживал смерть дочери. И вот в этом приличном европейском городе Достоевские получили наглядное свидетельство человеческой черствости.

...Аня, молодая мать, лишившаяся первенца, плачет. Федор Михайлович сидит в кресле хмурый, жалкий, скорбный.

— Никогда, никогда я ее не забуду, — шепчет он.

Стук в двери. Входит хозяйская служанка:

— Господ раздражает плач мадам. Пусть мадам перестанет, она мешает спать господам.

Вот она буржуазная добродетель!

Только знакомство с Огаревым успокаивало. Николаю Платоновичу была по душе Аня, и он не разделял отрицательного мнения своего друга Герцена о Достоевском.

— Я с вами моложе становлюсь, — говорил он Анне Григорьевне, бывая у Достоевских. — Счастливцев Федор Михайлович!

Огарев, как и Достоевский, страдал от падучей болезни. И как-то, возвращаясь к себе на загородную дачу, он в припадке упал в канаву и, пролежав там до утра, простудился. Врачи отправили его в Италию.

Достоевский сожалел о расставании с ним.

— Замечательный он человек, Анечка, — говорил жене. — И стихи у него такие искренние, устремленные. Послушай!

И вполголоса продекламировал:

Я в старой библии гадал,
И только жаждал и вздыхал,
Чтоб вышло мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка.

Помолчал и добавил:

— Эти стихи выстраданные, их надо иметь право писать!

Из Женевы Достоевские переехали в город Веве. А оттуда решили направиться в Италию.

Федор Михайлович болезненно переживал и то, что его письма из-за границы читаются жандармами, и то, что о нем сочиняются всякие небылицы, как в книге Гримма *. Аня не могла понять, почему судьба так несправедлива к этому на редкость доброму, хотя и вспыльчивому, больному писателю? Ведь он, если увидит на улице нищего, никогда не пройдет безучастно мимо.

— Дай, Аня, мелочи, дай! — начинал просить он.

— Да ведь на всех не напасешься, — отвечала жена.

Тогда он сжимал ее локоть и шептал настойчиво:

— Ну, прошу тебя, ну, ради бога, ну, пожалуйста!

— Федя, ты знаешь, что у нас дома ни сантима.

— Анечка, я достану, нам пришлют, ну!

Губы у него дрожали, лоб страдальчески морщился. И Аня уступала. Достоевский подавал нищему милостыню и сразу светлел лицом.

IV

Милан... Флоренция... Болонья... Венеция... Посещение музеев, картинных галерей, храмов... Во Флоренции, в капелле Батистеро, Федора Михайловича очаровали бронзовые двери работы Гиберти. Глубоко взволновали Достоевских и полотна итальянских художников, особенно «Мадонна делла Седиа» Рафаэля, а также «Венера Медицейская» скульптора-грека Клеомена.

Аня ожидала второго ребенка, и Федор Михайлович удвоил свою нежность к жене. «Жду с волнением, страхом и надеждой», — писал он знакомому в Петербург, памятуя о горькой утрате первой дочери.

И опять заботы о петербургских долгах. О Паше Исаеве, собиравшемся жениться. И творчество. Федор Михайлович задумал роман «Атензм», кончал «Идиота», а для журнала «Заря» писал «Вечного мужа».

— Во что бы то ни стало надо в Россию! — говорил он Ане.

«Надо быть в России, непременно, здесь же я потерял даже возможность писать, не имея под руками необходимого материала для письма: русской действительности и русских людей», — писал он друзьям.

* В книге некоего Гримма «Тайны царского дворца», изданной за границей, фантастически изображалась жизнь, арест и даже «смерть» Достоевского. Писатель хотел поместить опровержение, но потом раздумал.

Аня посоветовала пока переехать в Прагу: там славяне, они близки к России, у них — богатая культура. Но ничего из этой затеи не получилось. В Праге не оказалось семейных меблированных комнат, а платить за гостиницу для Достоевских было затруднительно. Пришлось расстаться с городом, который пленил их своими достопримечательностями. Перед часами ратуши Федор Михайлович долго восторгался выдумкой мастера, заставившего петь петуха и двигаться апостолов.

— Удивительный город! — говорил он жене. — С удовольствием провел бы здесь несколько месяцев. Ах, Аня, Аня!..

С сожалением расстались Достоевские с Златой Прагой и перебрались в Дрезден.

V

В Дрездене были библиотеки, галерея, сносный климат и недорогие меблированные квартиры.

В Дрездене у Достоевских родилась вторая дочь, Люба. Отец восторгался девочкой, называл ее красавицей, своим собственным портретом, на что Аня резонно замечала, что он себе льстит.

Но в Дрездене на Аню напала ностальгия. Теперь ей здесь все не нравилось. Теперь она упрашивала мужа вернуться на родину, уговаривала его не страшиться кредиторов, убеждала, что у нее есть силы и энергия и что она поможет ему преодолеть все трудности.

В Дрезден приезжали мать Ани и брат-студент Иван (сельскохозяйственная академия ввиду расследования дела об убийстве студента Иванова была временно закрыта). Но тоска по родине становилась все острее, и Достоевские решили ехать в Россию.

VI

За два дня до отъезда Федор Михайлович, уединившись, разбирал свои рукописи.

— Аня! — позвал он жену.

Она вошла в его комнату и увидела — Достоевский сидит на стуле нервный, с черными кругами под глазами.

— Возьми эти бумаги! — передал он ей несколько толстых пачек — рукописи романов «Идиот», «Вечный муж» и вариант «Бесов».

— Зачем? — спросила она.

Федор Михайлович отвернулся, чтобы скрыть свое волнение.

— Сожги! Все равно в Вержболово будет проверка. Сожги.

Ане удалось спасти лишь несколько записных книжек к роману. Эти книжки вывезла ее мать, уезжая позже.

Итак, прощай, Европа! Дрезденский вокзал... Потом Берлин... И наконец, Вержболово. Здесь у Достоевских перерыли все чемоданы, а книги и пачку исписанной бумаги отложили в сторону.

Пассажиров уже выпустили на платформу, — их ожидал готовый к отправлению петербургский поезд. А в зале, где остались Достоевские, таможенные чиновники, не спеша, аккуратно просматривали каждый бумажный листок, каждую страницу книги. Федор Михайлович казался каменным. Аню пугало его замкнутое, суровое лицо.

Но тут звонко заголосила дочка. Сидя на неудобной деревянной скамье, Люба, не переставая, требовала:

— Мама, дай булочку!

Перерыв на три секунды — и еще голосистой:

— Мама! Дай булочку!

Чиновники морщились.

— Уймите вашу дочку, — обратились они к Ане.

— Не могу. Я сама нездорова. А дочке нет и двух лет, ребенок устал и голоден, — недовольно отозвалась она.

А со скамейки несло:

— Мама, дай булочку!

— Отпустите их! — рассердился пожилой начальник с серебряным шитьем на мундире. — А то у меня баранные перепонки лопнут.

— Да, конечно, ваше превосходительство! Ничего противозаконного, кажется, нет... — заспешили таможенники. — Господин, забирайте вашу жену, дочку-плаксу, вещи и уходите, — обратились они к Достоевскому.

Достоевских нечего было просить. Носильщик подхватил чемоданы, Федор Михайлович взял на руки Любу.

И вот они уже в вагоне. Вокруг русская речь. А за окном — первые русские березки. Знакомые родные пейзажи...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

I

В Петербурге было пыльно и жарко. По улицам тахтели извозчичьи пролетки. В выцветшее небо поднимался копотный, жирный фабричный дым.

У здания окружного суда дежурили городовые. В день приезда Достоевских восьмого июля семьдесят первого года Особое присутствие Судебной палаты вынесло приговор по делу соучастников скрывшегося в эмиграцию Нечаева «Об обнаружении в различных местах Империи заговора, направленного на ниспровержение установленного в государстве правительства и об убийстве студента Иванова».

Нечаевцы — Успенский, Кузнецов, Прыжов и Николаев — были присуждены к каторжным работам на различные сроки. О приговоре Федор Михайлович прочел в «Правительственном вестнике».

Аня ожидала третьего ребенка. Денег не было, и квартиры не было. В просроченном закладе — вещи и мебель. Личная библиотека писателя продана пасынком Пашей Исаевым.

Поездку в Москву за деньгами в редакцию «Русского вестника» отложили до родов Ани. Федор Михайлович решил: если родится мальчик и до двенадцати часов ночи пятнадцатого июля, назвать его в честь празднуемого в этот день князя Владимира. Аня родила утром шестнадцатого, и сыну дали имя Федор.

В меблированные комнаты на Екатерингофском проспекте, где устроились Достоевские, явились родственники. Но вместо робкой девушки Ани они увидели энергичную молодую женщину Анну Григорьевну, твердо стоящую на страже интересов своей семьи.

Денежные дела родственников за четыре года несколько наладились. Федор Михайлович младший служил теперь учителем музыки, другой племянник, Михаил, стал банковским чиновником, и лишь Павел Исаев, женившийся на красавице, требовал от отчима денег.

Из младших братьев приходилось помогать больше Николаю. Брат Андрей — человек, понимающий значение Федора Михайловича, — жил самостоятельно.

Аня нашла на Серпуховской улице скромную квартиру из четырех комнат и обставила ее взятой в рассрочку на Гостином дворе рыночной неуклюжей мебелью.

— Федя, — сказала она мужу после переезда на новую квартиру, — знаешь что, я не хочу тебя ограничивать в тех удобствах, которые способствуют литературным занятиям; в остальном же я вынуждена буду, пока мы не расплатимся с долгами, соблюдать строгую бережливость.

— Ты хозяйка, Аня, — ответил Федор Михайлович, — тебе виднее.

В газетах появилось сообщение о приезде Достоевского, и кредиторы, как саранча, налетели на писателя. Один из них — купец-немец — даже собирался посадить Достоевского в долговую тюрьму, надеясь на то, что Литературный фонд выкупит его.

Дело уладила Аня. Она сама пришла к купцу.

— Я посажу в тюрьму вашего писателя, это есть мое последнее слово! — заявил тот.

— Ну что ж, сажайте! Вам придется уплачивать кормовые. А я умолю мужа, чтобы он ничего не печатал, а через год, ведь знаете правила, муж, выйдя из долговой тюрьмы, будет свободен от вашего долга.

— Так что же мне делать? Знаменитый писатель — и не имеет, как говорят русские, гроша ломаного!

— Стыдитесь! — вспыхнула гневом Аня. — Мой муж — благородный человек, он не хочет, чтобы чужие люди плохо вспоминали о его покойном брате.

— О-о, вы настойчивая молодая дама... Что вы предлагаете?

— Я буду уплачивать ежемесячно по небольшой сумме.

Купец согласился.

Дела, бесконечные дела! Перешивка старых платьев, стенографирование для мужа, хозяйство, дети... А тут еще издатель Стелловский в отсутствие Достоевских издал «Преступление и наказание» и отказался от уплаты гонорара. Ему предъявили иск на три тысячи восемьсот рублей. Но когда их получишь? И получишь ли? Дела... Бесконечные дела...

А Федор Михайлович нервничает. Критика демокра-

тического лагеря осуждает «Бесы», печатание которых начато в «Русском вестнике» у Каткова. Аня считает, что роман тенденциозен, краски сгущены, но есть главы великолепные, просто великолепные. Она видит, с каким уважением к Достоевскому относятся виднейшие люди правительственного лагеря — Константин Петрович Победоносцев, князь Мещерский, государственный контролер Филиппов... Значит, он им нужен, значит, они видят в нем большую силу. Как перед ним заискивают старый знакомый Аверкиев, написавший «Каширскую старину», и молодой Всеволод Крестовский, кавалерийский офицер и модный беллетрист! Как принимают их уважаемые семейства издателя Кашперова, архитектора Штакеншнейдера, управляющего Государственным банком Ламанского и поэтов Майкова и Полонского! Да разве всех пересчитаешь! Тут и художники, и деятели науки, и такие миллионеры, как знаменитый Третьяков, для московской галереи которого живописец Перов написал портрет Федора Михайловича.

Аня считала, что художник уловил на портрете минуты творчества Достоевского. Вообще Перов ей нравился: он милый, умный. Но Перов — честный труженик и потому беден.

Да, у мужа были читатели и почитатели, друзья и приятели, и среди них немало богатых и влиятельных. Но никто из них по-настоящему не помог Федору Михайловичу, когда он нуждался в совете. Они, конечно, знали и детскую доверчивость Достоевского, и его непрактичность. Ане казалось жестоким, что друзья мужа не помогли ему разобраться в оставшихся после покойного брата Михаила претензиях и долгах по табачной фабрике и журналам. Многие претензии были фиктивными, как потом она убедилась, просматривая долговые обязательства, а Федор Михайлович верил на слово и давал векселя за уже оплаченные товары и даже за статьи, гонорар за которые был уже получен.

В своем дневнике Аня изливала те огорчения, которые ей доставили долги чужого, в сущности, для нее человека. Она понимала, что громадный талант Федора Михайловича страдал от спешки. Ведь что получалось: три главы уже напечатаны в журналах, четвертая — набиралась в типографии, пятая — шла почтой в Москву, а остальные — только задуманы.

Аня видела, как, прочитав в «Вестнике» ту или дру-

гую свою повесть, Достоевский в отчаянии теребил свои поредевшие волосы.

— Ах, Аня, если бы только можно было вернуть, если б можно было исправить! — восклицал он.

Аня героически скрывала от мужа визиты Павла Александровича Исаева за деньгами, заклад серебра в ломбарде, доуки кредиторов.

Дети тоже отнимали у нее много времени... Лиля (так прозвали Любу) вывихнула руку, доктор вправил ее и забинтовал, а потом обнаружилось, что это был перелом и кость срослась неправильно. Пришлось из Старой Руссы, где в это время Достоевские снимали дачу у священника Румянцева, ехать обратно в Петербург, и в клинике профессор Бард сделал операцию.

Тогда же Аня узнала о смерти своей сестры Марии и болезни матери. Несчастья и дела... Дела и несчастья...

Вот почему так дороги были счастливые дни. Вот хотя бы первая поездка в Старую Руссу на минеральные источники...

Из Петербурга до станции Соснинка ехали поездом, а затем пароходом до Новгорода и в Старую Руссу.

Утром Федор Михайлович осторожно разбудил жену.

— Аня, выйди на палубу. Посмотри, какая удивительная картина!

И действительно, вокруг все было прекрасно: и весеннее утро, и кремлевские зубчатые белые стены, и мирный колокольный звон золотоглавой новгородской Софии, и весь этот город русской незабываемой старины.

Долго стояли они на палубе, и Федор Михайлович увлеченно рассказывал Ане о новгородских храмах и исторических преданиях.

II

А через некоторое время случилась беда. У Ани образовался нарыв в горле. Температура подскочила к сорока градусам. Вызвали военного врача. Он сурово отчеканил:

— Если нарыв не прорвется в течение ближайших суток, могут быть тяжелые последствия. Силы падают, сердце плохо работает. Везти в Петербург на операцию опасно и далеко.

Когда доктор, позванивая шпорами, ушел, Федор Михайлович впал в отчаяние.

Он твердил жене священника:

— Умирает Анна Григорьевна... Что я буду без нее делать? Я вас спрашиваю, матушка... Куда я без нее с детьми пойду? Не могу без нее жить... Она все, понимаете, все для меня...

Аня говорить не могла — писала записки мужу, как ему поступить в случае ее смерти.

— Да нет, да нет, — отстранял записки жены Федор Михайлович, — не верю... Нарыв прорвется...

Уходил в соседнюю комнату и, обхватив голову руками, горько плакал.

К ночи Ане стало все безразлично. Федор Михайлович сидел рядом с постелью, но теперь ей не было его жалко. И себя не было жалко, и детей не было жалко. Сколько она прожила? Двадцать шесть лет. Немного. «Господи, помоги! Давит... Воздуха! Душно мне...»

В спальне было полутемно. На столике стоял ночник под зеленым колпачком.

Горло сжимало все сильнее. Надо откашляться... Она вся от напряжения краснеет, жилы надуваются на лбу. Стонет. И опять напрягает горло. И вместе с мучительным хрипением чувствует, как воздух врывается в легкие. Она ловит его искусанными губами. Из рта идет кровь, но она не обращает на это внимания.

Воздух и этот сидящий около кровати пожилой мужчина с таким скорбным, таким дорогим для нее лицом — и больше ничего. И больше ничего не надо!

Аня видит просветленное лицо мужа и произносит только одно слово:

— Федя!

НА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

Академическая художественная выставка 1873 года — в ней принимали участие и живописцы-передвижники — привлекла всеобщее внимание. Издатель консервативного «Гражданина» князь Мещерский попросил Достоевского поделиться своими впечатлениями о выставке в «Дневнике писателя», который вел в журнале Федор Михайлович.

— Господа демократические художники, — сказал

Мещерский, растягивая слова, — очевидно, надеются мазней низкого жанра затмить прекрасное и высокое искусство. Я думаю, что ваш меткий взгляд увидит все ничтожество этих недоучек, возмнивших себя гениями.

— Насколько я знаю, — ответил писатель, — у них в картинах больше жизни, больше свежего воздуха, чем у академиков.

И он поехал на выставку. Федор Михайлович любил и понимал художество. Перед понравившейся картиной он мог простаивать часами, глубоко проникая в идею, воплощенную на полотне. Особенно он любил собрание Дрезденской галереи. Разве можно забыть «Сикстинскую мадонну» — символ такой невероятной чистоты, что просто не верилось, что это создание рук человеческих? А потрясающий тициановский «Христос с дидарием», а ландшафты Клода Лоррена!

На петербургской выставке Достоевского прежде всего поразила публика. В Дрездене публика чинная, ходит со справочниками, с лорнетами, созерцает произведения искусств в благоговейном молчании — все это как-то холодно, по-заграничному. Англичан богатых много — просвещенные господа, черт бы их побрал! Но англичанин и на картину смотрит — как будто честь художнику этим делает. А здесь перед каждой картиной молодые люди спорят, жестикулируют — значит, это настоящее искусство, новое, буйное. Вот-с вам, князь, и низкий жанр! Даже пожилые петербуржцы и те возбуждены, и те, правда, не так громко, но все же довольно энергично обсуждают сюжеты.

К Федору Михайловичу подошел писатель Григорович, однокашник Достоевского по Инженерному училищу. Он был в каком-то цветном пиджаке, бархатной жилетке, на шее небрежно повязан модный галстук, в руках — перчатки. Лицо дышит радостью жизни.

— О, мой милый! — приветствовал он Достоевского. — Почему вы не присутствовали на открытии выставки? Сколько было публики! И вы знаете, не только молодежи, не только людей искусства, но и почти весь свет, и его высочество президент академии...

— А мне, собственно, какое дело до света и президента? — раздраженно спросил Федор Михайлович.

— О, дорогой друг, вы даже и сюда принесли меланхолию. Но это свойственно вам, — снисходительно отметил Григорович и, будучи не в силах сдержать ра-

достного настроения, продолжил: — Я знаком со многими живописцами. Ах, какие таланты есть, какие таланты, Федор Михайлович!

— А мне рекомендаций не надо, — сердито оборвал его Достоевский. — Я уж как-нибудь своим умишком разберусь. Вы меня извините, Дмитрий Васильевич, и разрешите в одиночестве остаться. Потом, на досуге, с вами поболтаем.

В зале в сопровождении уланского поручика появились две дамы в модных туалетах, вооруженные лорнетками.

— Мсье Григорович! — проверещали дамы в один голос. — Какое счастье! Вы будете нашим любезным проводником.

Достоевский улыбнулся. И прошел вперед, начав осмотр картин.

Пейзажи — эффектно, правда, но бог с ними и с их золотистыми бликами! Отошел недовольно, даже не посмотрев на фамилию художника. Красивенькое — все же не искусство.

А вот две березки, такие характерно русские в пейзаже Архипа Куинджи «Вид на Валаам», трогают. Ветры тут суровые, но растут березки, все преодолевая. Изумительные березки!

Теперь жанр. Василий Григорьевич Перов, тот, что писал с него для Третьякова портрет, выставил «Охотников на привале». В трех фигурах есть национальная типичность и бездна юмора.

А вот «Любители соловьиного пения» молодого Владимира Маковского... Не зализано, есть некоторая неряшливость, — конечно, не запад, но то и ценно для Достоевского и для каждого зрителя, что здесь наше, русское, метко схвачено и глубоко прочувствовано автором. Купец, слушающий в упоении соловья... На лице — наивный восторг. Может быть, он в жизни — обирала, толстосум, в семье — деспот, но сейчас на него нашла стихия восторга, и он утопает в блаженстве. А отставной солдат-продавец... Сколько в нем гордости, самоуважения, как будто он и есть солист. «Об этом сюжете я обязательно напишу, — мысленно решает Достоевский. — Ах, князь, князь, фамилия у вас русская, а ничего вы в русском не понимаете!»

Особенно много публики теснится около полотна Ильи Репина «Бурлаки». Видно, эта картина и есть

гвоздь выставки. Около нее больше всего спорят, восхищаются.

— Никто так не писал! — выкрикивает бородатый студент. — Прямо от сердца идет. Страшная правда наших дней. Это стоит десятка обличительных статей.

Над толпой зрителей возвышается мощная голова критика Владимира Васильевича Стасова, человека с суровым лицом и бородой патриарха.

Достоевский остановился, долго и пристально рассматривал картину. Его заметили, зашептали: «Достоевский, Достоевский!» А он ничего не слышал.

Стасов хотел было подойти к Федору Михайловичу, но, увидев его напряженное лицо, прошел с группой почтительно слушавшей его молодежи к другому полотну.

Достоевский наконец вздохнул, вынул было портсигар, но вспомнил, что в залах курить нельзя, и сунул портсигар обратно в карман. Да, с полотна Репина смотрела на него Россия, народ, трудовой русский народ. Здесь у художника чувствуется гоголевская школа, великая школа правды жизни.

Сзади послышалось картавое восклицание одной из светских дам, сопровождаемых уланом и Григоровичем.

— О, мой бог! Какие страшные грязные мужики, мсье Григорович! Что-то мистическое, что-то напоминающее сцены из Данте. Но зачем это? Зачем гримасу делать достоянием изящной живописи?

— Ах, милочка, — вставила свое замечание вторая дама, — нынешнее искусство и литература, все эти господа некрасовы, только портят народ. Нет, после того, когда посмотришь картины итальянских галерей, такие картины просто шокируют. И главное, — что скажут иностранцы?

Поручику, очевидно, стало неловко.

— Вы несправедливы, сударыня, к нашим художникам. Они не лишены таланта. Это новое направление художества, — я думаю, меня поддержит почтенный Дмитрий Васильевич, — имеет свои достоинства.

Григорович только кивнул головой: «Зачем метать бисер перед этими барынями?»

Достоевский не выдержал, лицо его дернулось, и он решительно зашагал в сторону от светской группы.

— Кто это? — заинтересовались дамы, обратив на него внимание.

— Федор Достоевский, — ответил сухо Григорович.

— Ах, тот самый? Ах, как интересно!

— Ах, какой он мрачный!

И дамы принялись лорнировать быстро удалявшегося писателя.

НЕКРАСОВ ПРИЕХАЛ

Редко выпадают хорошие дни в Петербурге в апреле, особенно когда еще не прошел ладожский лед. Петербургский апрель всегда влажный, и на улице сильный морской ветер. Плохой апрель в Петербурге.

Но сегодня день выдался яркий и солнечный. Небо стало голубым, заискрилась на солнце Нева, засияли золотые купола Исаакия, шпиль адмиралтейства, и казалось, что вздыбленный в неудержимом порыве конь Медного всадника вот-вот оторвется от пьедестала.

Достоевский возвратился после прогулки по Невскому.

— Чудесная погодка! — сказал он жене, проходя в свой кабинет.

После того, как Федор Михайлович сдал дела «Гражданина» новому редактору, доктору прав Пуцыковичу, он чувствовал себя легко, как человек, сбросивший тяжелый груз с плеч.

В кабинете, раздевшись, Достоевский прилег отдохнуть на диван, и даже пропел вполголоса: «На заре ты ее не буди...» Сквозь дрему различал звонок колокольчика, голоса прислуги, Ани и еще чей-то мужской, веселый и очень знакомый голос. И тут в кабинет влетела Аня.

— Федя! Николай Алексеевич Некрасов! — радостно сообщила она, зная, что это посещение дорого мужу. — А шуба у него щегольская, воротник бобровый. А цилиндр!.. — И уже деловито добавила: — По делу, очевидно. В кабинет пригласить?

Федор Михайлович надел штиблеты, сюртук.

— Что ты, матушка! Не пригласить, а провести! Я сам его должен встретить, сам. Ко мне пожаловал такой человек, а я... — И Федор Михайлович, на ходу приглаживая волосы на голове, почти побежал навстречу Некрасову, который находился в зале.

Николай Алексеевич в черном сюртуке и английских серых брюках выглядел по-праздничному. Его продол-

говатое лицо с небольшой острой бородкой и несколько запавшими карими глазами было приветливо. Глаза смотрели пронизательно и весело. И то, что он лысел, что на висках и в бородке заметно проступала седина, что цвет лица был болезненным, как-то с первого взгляда не ощущалось.

— Николай Алексеевич! — Достоевский крепко пожал обе руки Некрасова.

— Да, живой и невредимый... Давайте уж по старой памяти...

Они расцеловались.

— Не верю, — говорил Федор Михайлович, проводя Некрасова в кабинет, — что это — вы... Честное слово! Да садитесь, садитесь вот сюда в кресло.

— Сяду, и с удовольствием. А к вам я, Федор Михайлович, челом бить. Не откажите по старой памяти.

— Все, что угодно, славный вы человек, душевный наш поэт... Хотя мы с вами и разными дорогами идем и лагерями разделились, Николай Алексеевич, но вы для меня...

— Знаю, знаю, Федор Михайлович, — прервал его дружески Некрасов. — Я тоже и вас люблю, и ваши произведения. Извините меня, только без «подполья» и «бесов».

— Понятно, понятно, вы ведь теперь в головном отряде демократической мысли. Сколько вы нам боли — мне и покойному Михаилу Михайловичу причинили. Помните «Свисток»?

— Не надо, Федор Михайлович! Зачем? В этом, как вы определяете, «головном отряде» собрались люди честные, горячие, молодые, всем готовые пожертвовать для блага России. А если и была когда-то журнальная полемика, то это простительно. Вы — нас, мы — вас...

Достоевский посуровел.

— А я что же, Николай Алексеевич, я что же — не для России, не для народа тружусь? Ну, хорошо-с, а Пушкин? И Пушкина, — губы его задрожали, — и его нигилисты ниспровергают! Его!

— Эх, Федор Михайлович, хотя и есть такие ниспровергатели, но это они по молодости лет, от горячности. Памяти Пушкина это не затронет. Пушкин как был, так и будет Пушкиным во веки вечные. Он бы их простил. Помните: «Простим горячке юных лет!..» — Некрасов задумался, но потом заговорил снова: — А я,

Федор Михайлович, рад, что Пушкин не живет в наше время. Тогда было плохо, а теперь... — махнул он рукой. — Если тогда существовали явные подлецы — Аракчеев, Голицын, Бенкендорф, то теперь преуспевают деятели типа вашего Каткова и Мещерского. А сколько либеральных сановников с продажными душонками, пресмыкающихся цензоров! Да вы сами знаете, Федор Михайлович. Пушкин писал: «И рабство, павшее по манию царя». Дожили! При чем сие произошло без особого царского удовольствия, но произошло. С одной стороны, как будто бы все хорошо — журналы, газеты, земские собрания, новые законы, всякие общества и акционерные компании, а на деле наш народ говорит: «Законы-то святы, да судьи супостаты».

— Мысль замечательная, — заволновался Достоевский, — конечно, вы правильно изволили заметить в своем стихотворении:

В этих фантазиях много ошибок:
Ум человеческий тонок и гибок.
Знаю: на место сетей крепостных
Люди придумают много иных...

Много иных, Николай Алексеевич! Но возможно, это необходимо: через мучительные поиски и страдания народ найдет свою правду.

— Ах, довольно он мучился и довольно его мучили, — неожиданно взорвался Некрасов. — Слышали мы такие христианские мысли... Не вам бы говорить, не мне бы слышать! Сами на своем хребте испытали все прелести Петропавловской крепости, сибирской каторги и солдатчины. Эх, Федор Михайлович! Давайте-ка лучше о чем-нибудь другом поговорим. Не стоит в редкий погожий день портить настроение. Вы мне лучше скажите, что нового пишете. Мне передавали, что вы не прочь предложить нам свое произведение. О чем оно?

— Роман, Николай Алексеевич, задумал о судьбе одного молодого человека, незаконнорожденного: он носит фамилию дворового человека, хотя сам происходит от барина. И вот я этого молодого человека, получившего образование во французском пансионе и гимназии, представляю в окружении различных петербургских соблазнов... Тут, понимаете, Николай Алексеевич, большая идея: самолюбивый юноша, имеющий самое низкое звание, но образованный и с идеалами, попадает в наш гадкий, мерзкий петербургский свет с его развратом,

губительной моралью, игорными домами. И вот молодого человека обуревают мысли о ротшильдовом богатстве. Тут идея денег — власть миллиона. В наш век практицизма миллион — это все. Будет там еще важный герой — хищный тип, барин. Понимаете? Я сначала думал публиковать роман в «Русском вестнике», но там приобрели рукопись графа Льва Толстого. На мой роман у них денег нет. Это один вопрос. А второй, Николай Алексеевич, в том, что по самой идее мой роман вряд ли там по душе придется*. Я тут через одну милую особу Тимофееву намеки делал в «Отечественные», и эта барышня мне от вашего Елисеява привет передавала. Значит и вы, Николай Алексеевич, готовы мою вещь взять? Я ведь аванс вперед беру, еще до сдачи рукописи. Мне в Эмс надо, лечиться... Профессор Кошляков посылает.

— Взял бы с удовольствием, — рассмеялся Некрасов. — И за лист — двести пятьдесят рублей, и ждать буду сколько угодно.

— Отлично, я рад, рад, Николай Алексеевич. Только я как давний сотрудник «Русского вестника» обязан его уведомить. Да, и разрешите моей жене о приятном вашем предложении сказать... — и Достоевский вышел из кабинета.

Анна Григорьевна также обрадовалась: она хорошо знала, что такое Некрасов для Федора Михайловича, а тут еще и гонорар большой.

— Соглашайся, Федя, соглашайся немедленно!

Прощаясь, Некрасов тепло пожал руку Достоевскому.

— Спасибо вам, Федор Михайлович, от меня, Елисеява, Салтыкова и моих сотрудников. Насчет аванса — пожалуйста, в самый ближайший срок. Надеюсь, что у нас с вами недоразумений не будет, — и, зажмурившись от проникшего в кабинет яркого солнечного луча, произнес: — Эх, Федор Михайлович, до чего же приятно — когда солнце.

* «Подросток», действительно, был встречен в «Русском вестнике» враждебно. Там нашли в романе «подробности, возмущающие образованное чувство» (рецензия в «Русском вестнике», № 1, 1876). Зато критики П. Ткачев (журнал «Дело», № 5, 6, 1876) и А. Скабичевский («Биржевые Ведомости», № 8, 1876) отнеслись к роману положительно, назвав его в «высшей степени замечательным».

РЕДАКТОР И ИЗДАТЕЛЬНИЦА

Достоевского тяготили долги. Было неприятно, что он не может доставлять жене удовольствие посещать концерты и оперу, вынужден отказывать детям в игрушках. И когда влиятельные знакомые Федора Михайловича стали уговаривать его принять редактирование еженедельного журнала «Гражданин», он согласился.

В журнале Достоевский начал вести особый отдел бесед с читателями «Дневник писателя». Условия оплаты труда были с точки зрения нуждающихся Достоевских приличными — три тысячи рублей в год, кроме гонорара за «Дневник».

К тому же наконец Анна Григорьевна Достоевская осуществила свою мечту: издание за собственный счет уже напечатанных в журналах сочинений Федора Михайловича. Она была первой в России женой писателя, взявшейся за трудное издательское дело, требующее переговоров с типографиями, чтения корректур, продажи книг, ведения бухгалтерии. Друзья ее отговаривали: и «тяжело де, и практики у вас нет, надо ли к старым долгам прибавлять новые?» И все же Анна Григорьевна рискнула.

Типография братьев Пантелеевых согласилась принять вексель. На покупку бумаги ушли гонорарные деньги из «Русского вестника». Книгопродавцы требовали скидки в сорок и даже пятьдесят процентов, но Анна Григорьевна решительно настаивала на тридцати процентах при количестве свыше пятидесяти экземпляров, а если брали для продажи книжек десять, давала лишь двадцать процентов скидки.

— Позвольте увидеть самих Федора Михайловича-с, — настаивали проходящие за книгами приказчики, — на два словечка!

Но Анна Григорьевна категорически отказывала:

— Федор Михайлович работал ночь и отдыхает.

За три года Достоевские выпустили три издания: «Записки из мертвого дома», «Бесы» и «Идиот» в количестве семи с половиной тысяч экземпляров.

Иногда происходили комические случаи, веселившие супругов. Особенно с романом «Бесы». Придет из книжного магазина посыльный, забудет название, чешет затылок и спрашивает у прислуги:

— Скажи, милая, это у вас нечистая сила продается?

А другой весело выкрикивает:

— Красавица, ждать недосуг, получи деньги и отпусти скорей десяток чертей!

Продажа этих книг, а затем и «Дневника писателя» продолжалась до самой смерти Достоевского, что принесло семье если не богатство, то полную возможность расплатиться с долгами и обеспеченную жизнь.

Зимой Анна Григорьевна по настоянию мужа абонировалась в итальянскую оперу, где гастролировала знаменитая Патти, восхищавшая Петербург. Место взяли на галерке, напротив большой люстры, — артистов отсюда почти не видно, зато хорошо слышно и пение и музыку.

В «Гражданине» у Федора Михайловича дела сначала шли успешно, но затем он стал утомляться от бесконечного чтения чужих рукописей, разговоров и переписки с авторами, переделки некоторых статей. Кроме того, мнительному Достоевскому казалось, что издатель журнала князь Мещерский относится к нему свысока. Когда скончался Федор Тютчев и Достоевский написал некролог, князь потребовал помещения своей большой статьи о поэте. И хотя Достоевскому хотелось самому поговорить с читателями о поэзии Тютчева, пришлось подчиниться и напечатать «княжью статью». В общем, проработав год, Федор Михайлович решил отказаться от редактирования журнала.

Аня не возражала. Она замечала, как муж тяготится обязанностями редактора, как ему грустно летом торчать в пыльном и душном Петербурге, когда семья живет в Старой Руссе (жили теперь не в доме Румянцева, а на даче полковника Гриббе).

Как-то Федор Михайлович по просьбе Мещерского поместил заметку о приеме царем киргизских депутатов. Достоевского как редактора привлекли к суду, так как для помещения такой заметки требовалось разрешение Дворцового ведомства. Окружной суд приговорил его к денежному штрафу и аресту на двое суток на гауптвахте. Ко всем неприятностям присоединилось то, что люди либеральные стали смотреть на Федора Михайловича еще более косо, выражая недовольство тем, что он редактирует монархический журнал.

Пришлось поволноваться Достоевскому и по запутанному делу сестры его матери Куманиной, оставившей богатое наследство, оспариваемое различными родственниками (земельный надел из имения Куманиной семья Федора Михайловича получила уже после смерти писателя). Все это усилило нездоровье, и в ноябре у Достоевского произошел тяжелый приступ эпилепсии.

Расставаясь с «Гражданином», Федор Михайлович сожалел лишь о том, что прекратятся его встречи с корректоршей типографии Траншеля — Варей Тимофеевой, девушкой, которая во многом скрашивала его рабочие часы в редакции. Как память о ней у Достоевского сохранился маленький томик Виктора Гюго — «История Фантины», с которым он отбывал часы на гауптвахте.

КОГДА СЕМЬЯ НА ДАЧЕ...

С утра Федор Михайлович делал записи к плану «Подростка». В квартире была тишина. Семья на даче. Кухарка Дарья ушла невесть куда.

Достоевский радовался: удачно получалось. План произведения — самое затяжное, но и самое важное.

Да! Да! Федор Михайлович понимает сердце своего героя, просто Долгорукова, а не князя. Он измучен идеей приобретения миллиона. Буржуазная идейка: все продается, все покупается; кумир — золото, кумир — акция и дивиденды, герой — Ротшильд.

В Англии, на родине Ричарда Львиное Сердце, Федор Михайлович видел проститутку — девчонку, оборванную, побитую, и никто, ни-и-кто не обращал на нее внимания. Вот она добрая старая Англия! А Франция? Здесь у каждого мечта — стать рантье. Слово-то какое — рантье: круглое, как золотой, — так и катится. Рантье — значит жить на проценты. А что Ламберт? Прохвост первостепенный, мошенник из мошенников, а считает себя человеком не хуже любого рантье. Ламберт... Он даже считает, что благодетельствует. Не подлецы, а разочарованные лезут в петлю, под пистолет. Сколько самоубийц!..

Достоевский пишет. Жаль, что Ани нет. Вот тут наброски, их бы продиктовать. Надо подумать о колоссальной фигуре барина, хищного и вместе с тем привлекательного...

Устал. Открыл окно. Зазвонили к ранней обедне в Греческой церкви, и звуки поплыли — бум... бум... На Николаевской железной дороге прокричал паровоз и, покрывая все звуки, по-хозяйски настойчиво и требовательно загудел завод.

Достоевский прилег на диван. Прекрасно он сделал, что отказался от редактирования «Гражданина». Прекрасно! Там до такой мерзости дошел Мещерский: предлагает над студентами надзор учинить, как в корпусах. Счастливо оставаться, ваше сиятельство, господин издатель!

Жаль лишь Варвару Васильевну Тимофееву. С ней у Федора Михайловича были самые дружеские отношения: Варя поверяла ему свои мечты, он рассказывал ей о литературе, давал советы. Она была худенькая, с очень болезненным, очень усталым лицом. Двадцатая весна постучалась в двери ее жизни непоправимым несчастьем: на больничной койке скончалась ее мать, преподавшая дочери чистоту помыслов и наивную веру в людей.

У Вари, как у матери, были пушистые волосы, ясные серые глаза и две родинки — одна на левой щеке, другая под припухшей губой. Слабостью ее была любовь к красивым вещам, ради чего ей приходилось экономить на обедах и ужинах. По своим симпатиям Варвара Васильевна примыкала к демократам, а корректуру в «Гражданине» держала ради заработка, не вникая в смысл статей, за что Достоевский не раз журил ее.

Особенно много ошибок пропускала девушка, читая корректуру, подписанную некими таинственными инициалами. Эти статьи принадлежали влиятельному члену Государственного совета Победоносцеву, и читать его ретроградские статьи, о чем прекрасно знал Достоевский, было для нее сущим мучением.

— Вам что — нигилисты ближе? — спрашивал Федор Михайлович.

И Варя, смотря ему в глаза доверчиво, отвечала:

— Да!

Он выговаривал ей, но долго сердиться не мог. Варя любила Достоевского — и как человека, и как писателя, и Федору Михайловичу было приятно это. Он сожалел, что теперь они больше не будут видеться. А ведь эта Варя Тимофеева доказала ему, какая молодежь ис-

кренняя. Как она хотела, чтобы Достоевский печатался в «Отечественных»!

Невольно вспомнилось обидное: в «Русском вестнике» графу Толстому за роман в сорок листов платили по пятьсот рублей за лист. А ему? Между тем деньги требовались до зарезу — послать семье, да и самому надо на что-то жить.

Выпив стакан чаю, Федор Михайлович вышел на улицу. По Литейному проспекту дошел до дома Краевского, где жил Некрасов. Николай Алексеевич принял его радушно. Поговорили о здоровье, о Старой Руссе и о «Подростке».

Неожиданно Некрасов спросил:

— Федор Михайлович! Презренного металла вам не надо ли?

— Мне всегда деньги нужны! — смущенно опуская глаза, ответил Достоевский.

Некрасов из ящика письменного стола достал несколько ассигнаций.

— Пока четыреста рублей, вы мне черкните расписочку. Остальные — через неделю.

От Некрасова Достоевский зашел на почту, перевел триста рублей в Старую Руссу Анне Григорьевне (вот обрадуется Аня!), а оставшиеся сто рублей решил экономно употребить на свои нужды. Наняв извозчика, он поехал домой. Но вспомнил, что у него вышел запас гильз и табака и нет вкусенького, — без вкусенького Достоевскому плохо работалось, — и, тронув возницу за плечо, распорядился повернуть в кондитерский магазин на Невском.

В кондитерской кокетливо одетая продавщица с милой ямочкой на щеке оказалась такой любезной, что было просто неудобно брать по мелочам.

«Сделаю запас», — решил Федор Михайлович. — Это выйдет гораздо практичнее и не надо будет лишний раз отрываться от занятий». И вскоре перед ним выросла целая пирамида из коробок и пакетов. Тут были и сахаренные фрукты, и халва, и пирожные, и изящная дорогая бонбоньерка — с чем, Достоевский так и не спросил.

Затем он поехал в табачный магазин. А рядом с ним оказался чайный, где продавщица вместе с чаем предложила ему приобрести жестянку с «замечательным бразильским кофием». Достоевский махнул на все ру-

кою и купил кофе столько, что его с избытком могло хватить большой семье на несколько месяцев.

Уложив покупки в пролетку, Федор Михайлович вспомнил, что забыл об апельсинах, — он любил за работой сладкое закусывать холодными апельсиновыми дольками, — и завернул еще в аристократический фруктовый магазин. К десятку апельсинов прибавил два фунта винограда и пяток груш «Бэра» — теперь, кажется, всего довольно.

Выходя из магазина, Достоевский столкнулся с Некрасовым. Поэт взглянул на плетеную корзину с фруктами в руках Федора Михайловича, приподнял цилиндр и прошел мимо растерявшегося писателя, который почувствовал себя провинившимся школьником.

По дороге домой Достоевский постарался подсчитать, сколько же он истратил. Выходило не очень-то экономно, вернее, даже очень неэкономно. Да еще извозчик запросил три рубля.

— Я с вами, ваше высокоблагородие, почитай, весь день проездивши.

А тут подковыляла нищая старушонка, увидев барина с покупками. Дал и ей двугривенный.

В кабинете, вытряхнув содержимое бумажника, Достоевский убедился, что осталось у него всего пять рублей. Сев в кресло, подумал, что, кроме булки со стаканом чая, он с утра ничего не ел. Но кухарка, не дождавшись его, крепко спала на своих перинах. Пришлось обедать пирожными.

Плохо, когда семья на даче!

СТАРАЯ РУССА

В Старой Руссе, древнем городе, славившемся своими минеральными водами, на берегу речки Перерытица, на даче полковника Гриббе, Анна Григорьевна с дочкой Любой и сыном Федей ожидали приезда Федора Михайловича.

Осень стояла скучная, дождливая, и в комнатах уже начали топить печи. Детям запрещено было бегать по веранде и играть на миниатюрном китайском бильярде с колокольчиками, и они капризничали, не находили себе места и приставали к матери. Анна Григорьевна, несмотря на присущее ей обычно спокойствие, послед-

ние дни нервничала, тем более, что от Федора Михайловича — вот уже неделя прошла после присылки денег — не было никаких известий.

Наконец в среду, когда со свинцового неба, как из решета, сыпался дождь и в опустевшем саду канавки переполнились водой, приехал Достоевский.

Анна Григорьевна, пришивавшая пуговицу к лифчику Любы, услышала восклицание прислуги — «барин приехал!» — и быстро пошла навстречу мужу. Дети, радостно взвизгивая, тоже бросились к дверям.

Прислуга уже несла чемодан и какие-то узелки, а сам Федор Михайлович стоял около извозчика и держал в руке кошель.

— Аня! — сказал он виновато. — У тебя нет мелочи? Тридцати копеек не хватает.

— Ну, конечно, есть, — ответила она и обняла мужа.

Он прикоснулся к ее щеке холодными губами, борода была влажная от дождя.

— Почему не писал? Я уже думала — не заболел ли?

— Нет, ничего, бог хранил, а только замотался в этом Питере, устал и все время тосковал.

Они пошли в комнаты.

— Сейчас самовар поставим, чай будем пить. Кушать хочешь? — спрашивала Анна Григорьевна, заглядывая в глаза мужу.

— Самовар — хорошо, согреюсь. Тут я кое-что привез: немного конфет, кофе, пастилы. А денег — как у испанского дворянина.

— Но ведь ты оставил себе сто рублей? Я это не для контроля спрашиваю... Хватить должно бы!

— Ах, Аня, — раздраженно ответил он, — не могу я каждую копейку рассчитывать.

Дети прижались к отцу. Он их погладил, расцеловал.

— Я вас к чаю побалую вкусеньким.

За чаем Достоевский угощал детей пастилой, конфетами. Анна Григорьевна прикинула в уме, сколько могут стоять конфеты в такой изящной бонбоньерке. До чего же нерасчетлив Федор! Ему хоть тысячу дай, все равно через три дня не останется ни копейки.

Федор Михайлович кратко — он не любил при детях говорить о делах — рассказал о своей работе, о здоровье, о визите к Некрасову, у которого печатался «Подросток».

— Прекрасно меня принял Николай Алексеевич. Чудесный человек! И деньги выдал. А деньги, Аня, брать вперед всегда тяжело. Но Некрасов умеет давать их незаметно, деликатно. — Он вытащил портсигар и закурил. — Кстати, — произнес более веселым голосом, — там я несколько фунтов кофе привез, хороший кофе. Барышня из магазина уверяет — бразильский. И я решил запас сделать. Видишь, какой я экономный.

Анна Григорьевна не выдержала — рассмеялась.

— Нам его на год хватит.

— Если ты будешь, Анечка, по своей привычке цыкорий туда подбавлять, и на два хватит!

Анна Григорьевна покраснела — смутилась.

Детям разговор казался скучным. Они болтали ногами под столом, причем Люба старалась побольней задеть своей ногой флегматичного младшего брата.

За окном шел дождь и где-то надоедливо лаяла собака.

*

* * *

Достоевский любил осень с ее дождями, с потускневшей зеленью, обнаженными деревьями. И теперь в привычной обстановке семьи ему страшно захотелось писать.

— Аня, — обратился он к жене, принесшей в кабинет чай и вазочку с вареньем, — ты не очень утомилась за день? Я хотел тебя попросить записать главку «Подростка». Дождь идет, а у нас тепло. Я в каком-то журнале прочел статью ученого медика — тепло, мол, сохраняет умственную энергию. Да, плохо сейчас человеку на улице. Мне так и видится, до ощутимости видится — идет он бесцельно, ноги мокрые, со шляпы (а шляпа у него обязательно мятая, поля обвислые)... да, вот — со шляпы ручейки стекают грязные: шляпа-то ведь старая...

— Ну, конечно, Федя, я не устала.

Анна Григорьевна сняла нагар со свечей (Достоевский не переносил ламп), придвинула к столу стул, положила перед собой бумагу и приготовилась писать.

За окном накрапывал дождь, Федор Михайлович подошел к окну, отодвинул занавеску и приложил лбом к запотевшему стеклу. Он ничего не видел за ок-

ном, но мысленно представлял, как на рыжей намокшей траве лежат бурые жалкие листья.

— Федя! — окликнула его Анна Григорьевна.

Он отошел от окна, закурил толстую (сам набивал) папиросу.

— Ты знаешь, Аня, какая самая жуткая пытка?

— Не знаю.

— А я тебе скажу: это когда тебе обреют голову и будут медленно капать на нее холодную воду. Говорят, что с ума люди сходят.

— Ах, Федя, зачем рассказывать ужасы! — вздрогнула Анна Григорьевна.

— Ну-ну, трусиха! Давай диктоваться...

Анна Григорьевна была отличной стенографисткой, но сейчас она едва успевала записывать. И когда робко попросила повторить какую-то фразу, Достоевский рассердился.

— Пойми, Аня, ты своими вопросами сбиваешь мою мысль. Я так хорошо надумал, а теперь потерял нить. Пожалуйста, больше не переспрашивай.

Анна Григорьевна ничего не ответила, спешно записывая повторенную мужем фразу.

Федор Михайлович отпил из стакана глоток чаю, закурил и, как с ним нередко случалось, уставился напярженным взглядом в одну точку.

Анна Григорьевна в такие минуты робела перед ним: бледное, высветленное внутренним светом лицо Достоевского становилось таким отрешенным, а две морщины на высоком лбу так резко прочерчивались, что ей казалось — это не ее муж, а совсем другой, непонятный человек. И когда неожиданно раздавался его приглушенный голос то с нотками гнева, то полный страдания, у нее вздрагивало сердце.

Сейчас, когда Федор Михайлович перестал диктовать, монотонный шум дождя за окном был особенно слышен. Прошло несколько минут, пока Достоевский опять не начал говорить, лишь изредка прерываясь и спрашивая:

— Ну как, Аня, удачно получилось?

Она отрывала взор от бумаги.

— Чудесно и очень верно.

Он скупо улыбался.

— Ну и хорошо! Ты не устала?

У Анны Григорьевны слипались глаза, но она уверяла мужа бодрым голосом:

— Что ты! Я могу писать до утра!

Растет количество знаков на бумаге, воск на свечах оплывает причудливым узором...

— Хватит! — говорит наконец Федор Михайлович. — Ты иди отдыхай! Эгоистичный я человек, да, да, эгоистичный... — Он подходит к жене, кладет ей на плечо руку и целует в лоб, а затем в глаза. — Ну, иди, — повторяет он нетерпеливо. — Иди, Аня, мне еще надо написать статью для журнала.

Жена вздохнула и медленно вышла. Достоевский присел к столу, взял чистый лист бумаги и стал рисовать на ней готический портал. Лицо сделалось злым и скучным: ему не хотелось писать эту статью.

Машинально протянул руку к вазочке с вареньем, взял одну ложечку, а затем жадно съел все. Усмехнулся: «Разбавил горькое сладким», — и, взяв перо, быстро начал писать, даже не перечитывая написанного.

За окном серело пасмурное утро.

САНОВНИК И ПИСАТЕЛЬ

Константин Петрович Победоносцев* вернулся со службы. Пообедал. Надел домашний коричневый пиджак, а на ноги — мягкие туфли. В кабинете взял со стола последнюю книгу «Русского вестника» и прилег на диван.

Худощавый, с изможденным лицом, крючковатым носом и умными серыми глазами, прикрытыми очками, он напоминал птицу, большую и хищную.

Широко образованный юрист, знаток церковного права, государственный деятель, Победоносцев все свои способности отдал на служение трем китам — «самодержавию, народности и православию».

С удовольствием Константин Петрович прочел статью Каткова о Бисмарке. Бисмарк нравился Константину Петровичу. По его мнению, канцлер был настоя-

* Победоносцев К. П. (1827—1907) — член Государственного совета, воспитатель Александра Третьего. С 1880 г. по 1905 г. — обер-прокурор Синода, фанатичный приверженец самодержавия, имел большое влияние на трех императоров — Александра II, Александра III и Николая II.

ший правитель, и вся Западная Европа с ее королями, парламентами и министрами не могла и шелохнуться без вedomа Бисмарка. Средневековая Германская империя Фридриха Барбароссы через сотни лет снова обросла мясом, соединилась, и все это сделал канцлер. У ног новой империи лежали поверженные Франция и Австрия. Перед величием Бисмарка дрожал Виктор-Эммануил, против него бессильно протестовал святейший престол, на него опасно поглядывала Англия. Призраки революции и либерализма надолго были изгнаны из Европы. Все это вызвало одобрение Победоносцева, хотя, с другой стороны, мощная немецкая империя у границ России заставляла несколько настораживаться. И вот теперь Михаил Никифорович Катков*, правда, в завуалированных выражениях, об этом говорит. Умница!

Слуга почтительно доложил о приходе господина Достоевского. Победоносцев просиял. Он гордился тем, что является другом знаменитого писателя. Через него Константин Петрович старался проводить в «Дневнике писателя» свои взгляды на текущие события. Правда, эти взгляды преломлялись у Достоевского по-своему, но кое-что от Победоносцева в них все же оставалось.

Сановник с легкостью юноши поднялся с дивана, протягивая руки навстречу входящему Достоевскому.

— Как хорошо, Федор Михайлович, что вы меня посетили. Я только что прочел статью Каткова в «Русском вестнике» и подумал о вас, а вы легки на помине! Как жена, дети? — И затем еще вопрос: — Вы голодны? Я знаю, что вы пока на положении соломенного вдовца!

— Статью Каткова читал, — сообщил Достоевский, отвечая на рукопожатие хозяина. — Литературные мои дела — занят «Подростком». Чувствую себя спокойно: с «Гражданином» навсегда покончил. Анна Григорьевна и дети здоровы и свидетельствуют вам свое уважение. А что касается чайку — не откажусь.

Константин Петрович позвонил в колокольчик и, смотря поверх головы вошедшего лакея (Победоносцев никогда не замечал прислуги), приказал приготовить

* Катков М. Н. (1810—1887). Издатель реакционной газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник», где печатались многие видные писатели. Как публицист Катков вел яростную борьбу с передовыми общественными взглядами.

ужин, чай и подогреть бутылку красного вина. Затем обнял Достоевского за плечи и усадил на диван.

— Курите и рассказывайте, почему это вы изменили «Русскому вестнику»...

— То есть как изменил? — насторожился Достоевский.

— Да очень просто: я слышал, что вы отказались печатать «Подростка» у Каткова и уступили публикацию Некрасову.

У Федора Михайловича на скулах вспыхнули красные пятна.

— Нет, это Катков отказал мне, а «Отечественные записки» взяли, и спасибо Николаю Алексеевичу. Считаю, правильно сделал.

— Правильно?! Они над вами издеваются. Салтыков про вас гадости печатно распространяет, а вы им рукопись!.. Как-то даже странно, Федор Михайлович! На правах друга говорю — странно... — развел он руками.

— Я человек русский. У меня одно дело — писательское, одно служение — народу. Что же касается Некрасова, то хоть дороги наши разошлись, я его ценю. Именно ценю, Константин Петрович. Я у Николая Алексеевича в журнале свет увидел и считаю, — почти выкрикнул Достоевский, — за особое удовольствие свой роман там печатать.

Победоносцев успокаивающе протянул к нему руки.

— Экий вы нервный... Я ведь дружески, а вы — на крик. А Катков ведь вас уважает, молитвенно уважает.

— Да и я его уважаю, — нехотя ответил Достоевский и вздохнул. — Уж больно много прохвостов вокруг «Вестника» увивается.

— Прохвостов везде много, — сентенциозно заметил Константин Петрович, смотря, как жадно курит Федор Михайлович свои толстые «пушки». — Наследник-царевич Александр Александрович считал бы себя обрадованным, если бы вы соизволили посетить его высочество.

— Не привык с царственными особами разговаривать, — засмеялся Достоевский. — Узнал я, Константин Петрович, от старорусского исправника, что до сих пор нахожусь под тайным надзором полиции. Понимаете? Преппикантная история! Меня либералы ретроградом считают: проданся, мол, правительству, а за каждым

моим движением господ жандармы следят. Как же его высочеству с таким преступником разговаривать?

Константин Петрович смутился.

— Что вы, что вы!.. Это какое-то недоразумение...

— Которое продолжается десятилетиями, — невесело улыбнулся писатель.

— Обязательно переговорю с шефом жандармов. Даю вам слово, Федор Михайлович, что в ближайшее время надзор, если только он имеется, будет с вас снят.

Разговор явно не клеился.

Победоносцев перевел беседу на Бисмарка, на балканские дела, на усиление правительством Порты преследования славян. Достоевский слушал невнимательно.

Пришел слуга с докладом, что ужин готов, но и ужин не сгладил мрачного настроения Достоевского. За десертом Федор Михайлович вдруг неожиданно спросил:

— Вы, Константин Петрович, член Государственного совета и связаны с делами православной церкви — верите ли вы во все ее догматы?

— Безусловно, любезный друг! То, что утверждено церковью, — истина, и никто из нас сомневаться в сем не имеет права. Малейшее сомнение уже рождает критику. Достаточно одного сомнения, и вся система может распасться.

— А я, — признался Достоевский, — иногда сомневаюсь. Хочу не сомневаться, а какой-то внутренний голос мне твердит: а если там, за гробом то есть, ничего нет?.. А вдруг там ни бога, ни блаженства, ни мук вечных нет — одна пустота... Возьмите с другого конца — есть христианская религия, магометанская, иудейская, буддийская, а сколько еще различных сект. И каждая из этих религий утверждает — моя вера самая правильная. Помнится, какой-то ученый и даже святой муж, человек исключительной честности, прочитав десять богословских трактатов и сочинений, воскликнул: «Верю, потому что это слишком нелепо!» А ведь тут мысль! Только подумайтесь...

Победоносцев пришел в ужас. Даже салфетку уронил на пол.

— Федор Михайлович! Вы ли это? Вы, который является образцом православного христианина! Светочем идей!

— Однако признайтесь, ваше превосходительство,

есть смысл в том, что я сказал, или нет? Господина Лескова изволите читать? Господин Лесков на церковных делах собаку съел, — это Федор Михайлович произнес с особым удовольствием. — Любитель клиросного пения, а в догматах пошатнулся. Колеблется. А у профессора Градовского столы по вечерам по велению нечистой силы бегают. А ведь догматы спиритизм запрещают. Запрещают, Константин Петрович!

— К чему вы это? — Победоносцев нервничал все больше. — К чему вы это, Федор Михайлович?

— Все к тому же. Если верующие люди такими делами занимаются, то чего же в будущем ждать? Всемирного столоверчения или столпотворения? У нас опасаются атеистов, а я еще не знаю, кто вреднее — папа римский или Бакунин? Вы, Константин Петрович, призываете в догматы верить. Раз утверждено и подписано церковью — стало быть, свято?

— Значит, вы, Федор Михайлович, и в постановлениях священных соборов сомневаетесь?

— Разрешите на этот счет фактик привести. Относительно мощей святой княгини Анны Кашинской. При царе Алексее Михайловиче священный собор во главе с патриархом признал мощи Анны Кашинской нетленными и постановил открыть им почитание. И чудеса при мощах святой Анны были. Сам царь Алексей Михайлович при граде Кашине святые мощи торжественно всем синклитом в серебряную раку положил. А при сыне Алексея, царе Федоре Алексеевиче, второй священный собор и тоже во главе с патриархом усомнился в нетленности мощей и приказал прекратить почитание святой Анны и мощи запечатать. Скажите, Константин Петрович, какое постановление собора правильно? А? В обоих случаях соборное и патриаршее утверждение... Ну-с? Если уж верить, так верить не догматам, не постановлениям — просто сердцем верить, всей душой, нелепо, а верить. Верить так, как лесковский батюшка. Помните, старенький деревенский попик до того был чист душою и сердцем, что, когда шел на поля о дожде молиться, то зонтик с собой брал. Вот это вера! Такой вере и апостол Петр позавидовал бы! Такая вера и горами двигает. А ваша вера, Константин Петрович, извините меня, всегда в мундире ходит с пуговицами Государственного совета и воспитателя царевича Александра Александровича.

Увидев в широко раскрытых глазах Победоносцева неподдельный ужас, Федор Михайлович рассмеялся:

— Шучу, шучу, Константин Петрович. Это я так, выдумываю или, вернее, придумываю, — люблю иногда в мыслях поиграть.

Победоносцев облегченно вздохнул:

— Фу! А я уж, любезнейший друг, испугался, — думал, что все это вы всерьез... — и уже благодушно продолжил: — Нельзя же так! Хотя для писателя это вполне простительно, а все же решаюсь советовать не злоупотреблять такими выдумками. От них мороз по коже.

Взгляд его превосходительства обратился к иконе святого царя Константина, которая висела в красном углу. Икона была дорогая, старого письма, в золоченом киоте.

НАСТЕНЬКА

Вечером, когда возвращался от Победоносцева, Достоевский почувствовал, что его захватила знакомая тоска.

Именно захватила... щемящей сердечной болью.

В легких не хватает воздуха, сердце усиленно стучит, и болит правая сторона головы.

Шел, не замечая ни улиц, ни прохожих. Над городом нависло серое небо. Дул ветер. Моросил дождь. На набережной мерцали редкие фонари. Достоевский остановился у гранитного парапета, облокотился и стал смотреть в воду. Вода была черной, от нее поднималась сырость.

— Законники! Фарисеи! — плюнул в воду Федор Михайлович.

Мимо прображались шпорами двое военных в высоких блестящих киверах. Они недоуменно взглянули на господина, стоящего у парапета.

А тот бормотал:

— Лицемеры, подлые душонки, всюду пакость!.. Сами чистенькими хотят быть, не согрешить, а в душе у всех — мерзость.

Прошла женщина в легкой жакетке, с ридикюлем в руках. Замедлив шаг, она вдруг повернула обратно и остановилась около Достоевского. И тоже посмотрела на реку...

— Проклятая жизнь! — проговорила ломким срывающимся голосом. — Дождь. Вся промокла, а спать, видно, без ужина придется, да и хозяйка ругаться будет. Не любит, когда без гостя приходишь.

В сером дождливом тумане сумерек лицо ее казалось зеленоватым, а подведенные черные глаза выделялись впадинами.

— Как вас зовут? — спросил Достоевский.

— Анастасья, — ответила она. — Можно и Настей, а ежели угодно, и Настькой.. У нас клички собачьи, как и ремесло.

Настя... — так звали героиню его «Белых ночей».

— Далеко живете? — спросил машинально.

Женщина, видимо, обрадовалась.

Она еще ближе пододвинулась, почти прижалась плечом к его плечу.

— Миленький! Пойдем ко мне! Тут недалеко, почти-тай — рядом. Только спервоначалу след бы покушать чего да и согреться — водки бы...

Видя, что человек молчит, она заговорила быстро и возбужденно:

— Я не какая-нибудь, я ведь от нужды... Мать у меня в Серпухове — мещанка, больная, еще сестренка... В Серпухове я двухклассное кончила, а потом у мадам в мастерской служила, да выгнали. — Ее черные подведенные глаза смотрели умоляюще. — Я бойкая, спеть могу, если угодно. Дорого не возьму, сколько пожалуете... Ей-богу, целый день во рту маковой росинки не было.

— Не надо столько слов... Лучше извозчика, — вяло произнес Федор Михайлович.

— А вот он здесь. Ванька!

Возница, нахлестывая свою клячу, подъехал. Настя ухватила Достоевского под руку и повела к пролетке. Пролетка была с поднятым кожаным верхом.

— Разрешите спервоначала до трактира доехать...

Достоевский кивнул головой. Нашарил в кармане брюк кошелек, достал серебряный рубль и подал Насте.

— Хватит?

— Цены там ночью завсегда дороже. Прибавьте полтину, в самый раз будет.

Достоевский дал еще рубль.

— Сразу видать образованного кавалера, — подобо-

страстно прошептала девушка и прижалась мокрой щекой к его губам. От нее шел запах дешевой пудры.

Пока ехали, пока стояли у трактира, Достоевский молчал, а Настя без умолку что-то рассказывала, а что — Федор Михайлович не слушал. Она купила бутылку водки, французский хлеб, колбасы и селедок. Деловито сказала:

— Рупь восемь гривен, еще сдача есть.

— Ну и хорошо, — отрывисто бросил Достоевский. — Скоро приедем?

— Сей секунд.

Наконец и Настин дом — трехэтажный, приземистый. На лестнице пахло помоями и кошками, ступеньки были крутые и скользкие. Настя вела Достоевского за руку, и рука у нее была влажная и горячая.

«Зачем я здесь? — подумал писатель. — Может, уйти? Дать денег и уйти... А что делать дома? Семья на даче, а в пустой квартире тоска еще больше заест... Заест... Посижу у Насти — хоть чаю выпью. Пил у его превосходительства... Теперь — у проститутки».

— Пришли! — сказала Настя и в темноте дернула за ручку звонка.

Раздался звон колокольчика и чей-то голос за дверью:

— Кто тут?

— Это я, Варвара Алексеевна, с хорошим гостем.

Дверь отворилась. На пороге, держа в руке оплывшую сальную свечу, стояла хозяйка в грязном ситцевом капоте. Лицо широкое, обрюзгшее, курносое, с бесформенным подбородком. Глазки серые, хитрые.

— Хорошим гостям завсегда рады! Проходите, господин, проходите! Погодка-то нынче аховая.

Запах пеленок, чего-то кислого и едкого ударил в нос.

Он улыбнулся страдальчески.

— Очень приятно познакомиться!

Настина комната была сразу же за кухней. Три шага — в ширину, четыре — в длину. У стены — деревянная кровать, застеленная одеялом из лоскутков. Красная ситцевая занавеска висела на окне. У окна — стол, на столе — стакан, кружка с отбитой ручкой, тарелки и дешевая стеклянная синяя вазочка с несколькими куточками колотого сахара. На комод — зеркальце, бан-

ка с помадой, карточка с двумя воркующими голубками в рамке из ракушек, лубочный портрет царя Александра Второго в гусарском мундире, а над ним — иконка с изображением Николая-угодника. За иконой — верба и две бумажные розы.

Свободного пространства было мало.

— Вы уж извините! — сказала девушка. — Бедность.

Сальная свеча коптила. Настя сняла нагар, свет сделался ровнее. Достоевский скинул пальто. Девушка бережно взяла его и повесила на гвоздь, заменяющий вешалку. Сама она без жакетки, в голубом ситцевом платье, обшитом у ворота стеклярусом, выгляделастройной и молодой. На шее — разноцветные бусы.

Теперь Федор Михайлович хорошо разглядел ее лицо. Оно было удлинненным, с карими глазами, обрамлено черными волосами, очень красивыми и густыми. На вид Насте было лет двадцать-двадцать два.

Достоевский сел.

— Настя, вы часто богу молитесь?

— Как же. Чай, православная — и в церкви, и у папа на духу бываю.

За перегородкой заплакал ребенок. Послышался звук раскачиваемой люльки.

— Это у хозяйской племянки, Катьки, дочка кричит. В грудях молока нет, вот дите и надсажается.

Настя деловито разложила на тарелках закуску — колбасу, селедки, огурцы, нарезала хлеб.

— Хозяйку разрешите позвать? Она только чаю да водки выпьет и уйдет.

— Что ж, пожалуйста, — согласился Достоевский.

— Спасибо вам... Как вас величать-то?

— Федор Михайлович.

— А по какой вы части?

— По письменной.

— Я так и гадала: или учитель или чиновник.

Вскоре вошла хозяйка, неся кипящий самовар.

— Стриженная девка косу заплесть не успела, а самовар уже готов. Извольте чай кушать. Я китайского цветочного заварила.

— Варвара Алексеевна, садитесь с нами за компанию, — пригласила хозяйку Настя.

Достоевский поддержал приглашение.

Хозяйка жеманно проговорила:

— Грешница, люблю себя побаловать пуншиком.

Села, налила чаю, добавила водки и сахара и стала степенно, причмокивая, пить.

Настя после трех рюмок водки жадно набросилась на еду.

— Трудно девице, если у нее нет богатого кавалера, — протянула хозяйка. — Верьте слову, господин, мне на них глядеть, кажись, привычно, и то временами под сердце подкатывает. У меня — племянка... Опростоволосилась, а теперь с младенцем мучается.

Допила и встала:

— Благодарим за угощение.

Настя доела последний кусок колбасы и пьяно посмотрела на гостя.

Он сидел скучный, с серым лицом и курил.

— Вы как, Федор Михайлович, отдохнуть, может, желаете?

Достоевский очнулся.

— Отдохнуть? — переспросил он. — А вы его (указал кивком головы на образ Николая) не боитесь?

Девушка обиделась.

— С чегой-то? Когда у меня гость, то я икону переворачиваю ликом к стене.

Федор Михайлович весь передернулся: ликом к стене! Он обхватил колени руками, наклонил голову, и при свете сальной свечи отчетливо выступил его белый выпуклый лоб.

Настя встала и подошла к иконе.

— Не трогай! — тихо, почти шепотом, произнес Достоевский.

— Воля ваша, Федор Михайлович! Да что вы так смотрите на меня?

Она вдруг застыдилась и почувствовала, что гость совсем не похож на других и что если ей придется разговаривать перед ним, она не сможет этого сделать.

В соседней комнате заплакал ребенок.

Послышался женский выкрик: «Господи! Да замолчи, постылый!» — и затем мягкое шлепанье и визг младенца.

Достоевский вскочил со стула.

— Велите ей оставить ребенка. Разве так можно?..

Он выхватил из кармана кошелек, достал бумажку и еще какую-то серебряную мелочь и стал совать в руки испуганной Насте.

— Вот, дайте ей, дайте и скажите, чтоб она не смела бить ребенка!

— Да за что ей столько денег? — удивленно протянула девушка.

— Дайте, дайте! — повторил Достоевский.

Настя стояла и не шла. Тогда он стал вытряхивать из кошелька все деньги на стол. Тут были золотой и рубля три серебром.

— А это себе оставь, только пусть замолчит.

На губах у Достоевского проступила пена. Он затопал ногами.

— Иди, иди сию минуту!

Настя всплеснула руками и выскочила в коридор. Федор Михайлович в изнеможении сел на кровать, тяжело задышал.

— Только бы не припадок! Надо лечь и ни о чем не думать.

В соседней комнате слышались голоса, и вскоре крик ребенка прекратился.

Когда Настя вошла обратно, Достоевский полулежал на кровати. Голова была закинута, рот искривился, глаза широко раскрыты, видны были два белка, а тело содрогалось в конвульсиях эпилептического припадка. Настя вскрикнула и позвала хозяйку.

Придя в себя, Федор Михайлович увидел склонившую над ним Настю, которая прикладывала к его голове мокрое полотенце. Ворот рубашки был расстегнут, ботинки сняты.

— Страсть испугалась, — сказала она просто. — Непароком умрете, думала.

— А тебе жалко было бы? — выдавил он с трудом.

— Жалко, — сказала девушка с убеждением. — Вы барин хороший, только несчастненький...

Уличная девица назвала его несчастным! Как это она догадалась? Правильно — я подлый и несчастный!

— Деньги ваши, — сказала Настя, — я не возьму. Вы не в себе были, когда давали.

— Нет, нет, возьми, разделите между собой. — Он говорил как в бреду. — А меня вспомни, обязательно вспомни! Несчастненького Федора! А теперь дай одеться.

Девушка, ни слова не говоря, подала ему ботинки и шнурки. Помогла надеть пальто, вынесла свечу и осветила ему в коридор. Оба ничего не говорили. И только, когда Федор Михайлович спускался по грязной лест-

нице, она, поставив свечу на ступеньку, подбежала к нему, схватила его за голову, прижала к своей груди крепко, порывисто и сквозь слезы вымолвила:

— Бедненький ты мой, голубчик!

...И опять была улица, уже не черная, а серая. Серый утренний туман поднимался с Невы. Контурь домов казались тоже серыми и грязными.

Достоевский шел, подняв воротник, засунув руки в карманы и однозвучно повторял:

— Несчастненький, несчастненький.

Он шел без цели, шел для того, чтобы идти. И город — вместилище жизни задавленных богатыми и жирными, злыми и глупыми, город проклятый и одновременно великий, город нищих, гноящихся домов и сверкающих дворцов — раскрывался перед ним, как знакомые страницы написанной книги.

Вторая встреча с Настенькой произошла случайно и тоже вечером, когда не работалось и когда потянуло из кабинета на петербургские улицы, чтобы видеть людей, о которых думал, думает и будет всегда думать.

Разве не любопытны люди в этот вечерний час? Посмотрите, перед освещенной витриной кондитерского магазина, где красуется шоколадный рог изобилия, молодой человек с бледным сероватым лицом жадно смотрит на большую конфетную коробку, кокетливо перевязанную пышным шелковым бантом. На нем — старое темно-зеленое пальто, узкое в талии, с поднятым воротником, а на голове — форменная фуражка с чиновничьей кокардой. Руки плотно засунуты в карманы.

«Обязательно он мечтает о том, — подумал Достоевский, — чтобы купить бонбоньерку для своей красавицы».

А господин в цилиндре, хорошо одетый, с толстым двойным подбородком, солидными седыми бачками и носом, испещренным жилками, наверное, доволен существованием. Чин у него — не ниже статского советника, он добрый семьянин, хотя и не прочь согрешить тайно. Дома у него жена, дочка-невеста и сын-балбес. Сказавши супруге, что едет к приятелю «повинтить», он вместо этого зайдет в кондитерскую, приобретет бонбоньерку и отнесет ее даме своего сердца.

Достоевский остановился у витрины рядом с молодым чиновником. Статский советник вошел в кондитерскую

и через несколько минут вышел, держа в руках завернутую коробку конфет. Бедный молодой человек злобно взглянул на солидного господина и вполголоса обронил: — Подлец.

— Вы что? — спросил Достоевский.

Чиновник оглянулся.

— Это не по вашему адресу, милостивый государь, а вот по их, — и ткнул пальцем в сторону цилиндра.

— А вы его знаете?

— Знаю. Начальник отделения в нашем департаменте, в скором времени генералом и вице-директором станет, первостепенный скот. А вас почему сие интересует?

— Да так, — ответил Федор Михайлович. — Вы не думайте, что я хочу вас обидеть сожалением, — молодые люди страсть как обидчивы. Смотрел я на вас и думал: до чего человеку хочется купить бонбоньерку!

— А в кармане у меня четвертак, а до двадцатого числа еще далеко, вот и стою, гляжу и гневом распаляюсь. Есть у меня желание другое, сударь. Трахнуть кулаком по стеклу, чтобы все вверх тормашками полетело. Желание есть, а сделать не могу. По природе я скромн и боязлив, силу же имею только после графинчика очищенной.

Достоевский, сам не зная отчего (стих такой нашел), предложил чиновнику папиросу и спросил:

— А вы долго еще собираетесь лицезреть шоколадные торты и рог изобилия?

— Делать мне вечером нечего.

— Пройдемся?

— Если желаете.

Они пошли. На улице — фонари, прохожие, цоканье копыт, смех... На углу — ярко освещенный ресторан, у дверей — в расшитой золотыми галунами фуражке — старый швейцар из солдат с нафабранными щетинистыми усами.

И Достоевский почти дружески произнес:

— Не считите за обиду, но позвольте мне пригласить вас разделить со мной компанию.

— Буду признателен, — кивнул головой чиновник.

Когда чиновник в гардеробе снял с себя пальто, он оказался в старом, тщательно вычищенном форменном синем сюртуке с золотыми гербовыми пуговицами. Брюки были несколько вздуты на коленях.

Посетителей в ресторане было немного. Достоевский

и его новый знакомый заняли столик у окна. Достоевский заказал себе чай с лимоном и для чиновника — графинчик водки и порцию сосисок с капустой.

— Простите за скромное угощение. Я сейчас не при деньгах, — сказал конфузливо. — А главное, не обижайтесь, я по вашему лицу вижу — вы вспыхнуть готовы: мол, «благодетель нашелся, покровительствует, хочет за рубль свое благородство показать»... Ведь вы так мыслите, признайтесь?

— А вы, милостивый государь, почти что угадали, — сказал чиновник, — и если бы вы мне этих слов сейчас не сказали, я обязательно бы ушел, от стыда ушел. Я ведь семинарист архангельский. Не Ломоносов, а все же два года в университете пробыл, мечтал о науках, об идеалах. Толстого, Тургенева, Некрасова, Достоевского почитывал — нынешних учителей жизни. Комедии Островского в театре смотрел. Потом в департамент поступил и превратился в презренного помощника столоначальника.

Молодой человек, даже не сказав «за ваше здоровье», жадно выпил большую граненую рюмку водки, еще налил, выпил и принялся за сосиски.

— Вы что же не пьете?

— Не хочу! — ответил Достоевский.

— Ну и не надо. Мне больше останется. И затем позвольте узнать, кто мне честь делает угощением, кого я должен поминать в своих молитвах? Откройтесь, умоляю. Моя же фамилия Иваницкий Александр Петрович и лет мне двадцать пять.

Он вызывающе уставился на Достоевского.

И тогда Федор Михайлович тихо молвил:

— Я литератор и зовусь Достоевским.

Чиновник с шумом отодвинул стул, поднялся. Лицо его выразило волнение и чрезмерное удивление.

— Федор Достоевский! Боже мой! И это не сон! Ах я дурак! Ведь точно вы — Достоевский! Такой, какой в журналах.

Федор Михайлович дружески усадил молодого человека за стол.

— Не надо шуметь. Зачем?

Он отпил остывший чай и закурил.

В зал, пошатываясь, вошел армейский офицер с красной физиономией и лихо закрученными рыжими

усами, а за ним — черноволосая девушка в голубом платье из дешевого материала, обшитого у ворота стеклярусом. Офицер плюхнулся на стул недалеко от столика, за которым сидел Достоевский, и громко позвал: — Барышня! Попрошу аллюром сюда!

Девушка в голубом поместилась напротив офицера, спиной к Федору Михайловичу. К офицеру подбежал лакей.

Иваницкий нагнулся к Достоевскому.

— Я вот вам, Федор Михайлович, хочу поэтически-ми словами сказать: «Блажен, кто верует, тепло тому на свете!» А я верить не могу, и идей в голове никаких нет. Все съел департамент. — Он усмехнулся и каким-то деревянным голосом проскандировал: — «На запрос Вашего высокоблагородия за № 342 от января месяца сего года честь имею сообщить нижеследующее...» — такова единственная литература, какой теперь изо дня в день занимаюсь... Повеситься впору... Раньше на свои вопросы ответы искал в хороших книгах, а теперь все ответы нахожу... — он налил рюмку водки и выпил, — вот в чем-с! Думал в любви найти идеал — семейную жизнь устроить: с милой, мол, и в шалаше — рай. Ан не выходит: милая шалаша не желает, ей квартиру из трех комнат подавай. И стал за милой богатый лавочник из новых (в коммерческом училище обучался) ухаживать, а я и презента приличного сделать не могу. — На глазах у чиновника показались пьяные слезы. Он резко выпрямился. — Не могу-с... Вы, Федор Михайлович, сами видели, с каким вожделением на коробку с шелковым бантом смотрел. Молодой человек двадцати пяти лет от роду — и двадцать пять целковых в месяц. Комната от хозяйки, и тараканы в щелях... Подходящая тема для вас, Федор Михайлович. Даже такие барышни, — ткнул пальцем в сторону дамы офицера, — и те брезгают, а по сему я еще выпью...

Он налил последнюю рюмку, положил локти на стол и опустил на них голову.

Достоевский, насупившись, сидел перед пустым стаканом и смотрел на склоненную голову пьяного чиновника. Было ему неловко и тяжело. Неловко от любопытствующих взглядов лакея, уже несколько раз нагло проходившего мимо столика, и оттого, что видел перед собой обнаженную душу человека, так трагически растратившего свои жизненные силы.

Мысли Федора Михайловича прервал развязный лакей:

— Господин! Больше-с ничего не потребуется? А затем извольте попросить вас разбудить приятеля, — лакей ткнул грязной салфеткой в сторону чиновника, — здесь ресторанное заведение-с, а не ночлежный дом... Другие, поблагороднее, посетители обижаются!

Достоевский вскинул глаза на лакея.

— Вы это мне? — спросил он, растягивая слова, и лакей растерялся.

— Я на тот счет-с, ваша милость, — проговорил заискивающе, — что хозяин обижается, а наше-с дело маленькое-с.

— Сколько с меня?

— Два рубля двадцать копеек!

Достоевский бросил на стол трехрублевую бумажку:

— Сдачу оставь себе!

— Покорно-с благодарим вашу милость, — и отошел.

За соседним столиком военный с капитанскими эполетами пил большими рюмками коньяк и угощал женщину. Он фальшиво напевал мотив из «Прекрасной Елены» и спрашивал свою даму:

— Не желательно ли вам, мамзель, испробовать персиков?

— Мне бы антоновское яблоко, — ответила она.

— Это слишком низкое угощение. Уверяю вас, мамзель, персики не в пример лучше дамскому полу.

Женщина твердила о яблоке, а офицер пьяно настаивал на персике...

Достоевский, оторвавшись от своих размышлений, взглянул на женщину и вздрогнул. Настенька! Та самая Настенька, которая его пожалела и назвала несчастным. Какой большой город, и как узки дороги человеческие!

— Эй! — заорал офицер. — Жив-ва подать персиков!

Персиков в буфете не оказалось.

— Черт вас возьми! — горячился офицер. — Безобразие! Где у вас фрукты? Где, морда, я тебя спрашиваю!?

— Прикажите моченых яблок, а то засахаренных груш-с! — лепетал лакей.

— Хочу груш!

Лакей рысцей побежал к буфету.

— Напрасно вы это, — сказала женщина. — Лучше бы моченого яблочка!

— Тебя не спрашивают, тварь — рявкнул офицер. — Твоя должность на задних лапках ходить, а не рас-с-суждать. Ваша сестра хуже насе-ко-мого. Пей!

Он налил рюмку коньяку и стукнул кулаком по столу. Женщина с видимой неохотой подчинилась.

— Последняя, ей-богу, в нутро не влазит, я и так пьяна... Пойдемте лучше домой.

— Куда? — надменно спросил офицер. — Где твой дом?

— Да вы вчера у меня были.

Лакей принес на тарелке две засахаренные липкие груши.

Настя, неумело держа в руках грушу, принялась за нее. Офицер выпил еще рюмку и, схватив вторую, оставшуюся на тарелке грушу, бросил ее прямо в лицо своей спутнице... Груша попала Насте между глаз; нос, щеки, подбородок — все было залито сиропом.

— Как вам не стыдно, капитан! Разве так можно? Ведь это человек, женщина, а вы ее унижаете!

Перед офицером стоял Достоевский. Глаза его были гневны, руки дрожали.

Офицер как бы протрезвел.

— А вы, милостивый государь, по какому праву вмешиваетесь не в свое дело? Кто вы такой?

Настя, широко раскрыв глаза, смотрела на Федора Михайловича, узнав его. Лицо ее покраснело, ей было стыдно. Стыдно не потому, что ее оскорбили, а оттого, что это видел Федор Михайлович.

— Да я на них не в обиде, — вымолвила она каким-то звенящим от слез голосом, — не в обиде. Не беспокойтесь, Федор Михайлович, не в обиде я... — И покорно добавила: — Разве мы смеем обижаться?

Чиновник, очнувшись ото сна, поднялся со стула и подошел к Достоевскому.

— Кто я? — сказал Федор Михайлович капитану. — Я отставной офицер и, как старший по годам, говорю вам, что нельзя так дурно обращаться с женщинами! Вы, капитан, решили, что раз она обиженное, зависимое существо, значит, с ней можно поступать по-хамски? Нет, нельзя.

Чиновник взял Достоевского под руку.

— Что вы, Федор Михайлович, с ним рассуждаете? Разве они могут понимать! Они только невежество показывать могут. А вы, капитан, за великую честь должны

считать разговор с Федором Михайловичем Достоевским! Мы с вами сдохнем — никто не заплачет, а книги Федора Михайловича в веках останутся!

Офицер удивленно вытаращил ословелые глаза на Достоевского.

— Ну что вы, господа, из-за такой шкуры и такие слова! Да я с великим удовольствием ради одного знакомства с вами готов извиниться, пьян, как скот-тина, верно... Извиняюсь перед вами, как перед бла-а-родным человеком и отставным офицером. Но перед шлюхой мне честь не позволяет достоинство ронять. Эй! Эй! Буфетчик! Шампанского!

Чиновник сказал вполголоса:

— А ведь капитан и впрямь, Федор Михайлович, не виноват. Разве он понимает? У него мозги не такие.

Достоевский пожал плечами.

— Пить я не буду, не могу, прошу извинить.

— Жаль, жаль, — огорчился офицер. — А где служили?

— В Сибирском линейном батальоне.

— Сибирский, значит — земляк. Музыка, туш! Ур-ра!

Достоевский кивнул капитану головой и направился к выходу.

У вешалки, когда Федор Михайлович надевал пальто, к нему подбежала Настя. Вид у нее был полубезумный. Схватила руку Достоевского и прижала к своей груди.

— Век помнить буду, — прошептала она, — буду, буду, буду... Повернулась и убежала в ресторанный зал.

И была еще одна встреча, последняя.

Незадолго до смерти выступал Достоевский в зале Кредитного общества, что напротив Александровского театра. Выступал от Литературного фонда на благотворительном вечере. Как всегда в последние годы, его выход на эстраду молодежь приветствовала горячими аплодисментами. Читал он из «Братьев Карамазовых» главу «Исповедь горячего сердца». Читал проникновенно, отчетливо, как бы рассказывая слушателям самое сокровенное. Глухой голос Достоевского был слышен в самых задних рядах.

В артистической его поздравляли. Некоторые — искренне, другие — с плохо скрытой завистью.

Когда он уже в шубе, сопровождаемый курсистками и студентами, спускался по лестнице, от одной из колонн отделилась женская фигура.

— Федор Михайлович, — просяще прозвенел надтреснутый голос.

— Настенька, — удивился писатель. Он ее сначала не узнал, то есть узнал, но не увидел в облике Настеньки ту, прежнюю. Перед ним стояла скромно одетая молодая женщина не в нелепой шляпке, не с намалеванными бровями, не напудренная, а в белом платке, полупальто, с усталым, но не запятнанным румянами лицом и с глазами, имеющими право смотреть открыто на каждого.

— Я, Федор Михайлович, тут мимо проходила и вижу — афиша, а на ней ваша фамилия. Я и спрашиваю у служак — где можно билетик купить, у меня, на счастье, полтинник нашелся... Я наверху сидела, вас только и слушала. Слушала и плакала.

Достоевский взял ее руки и погладил. Настя сконфузилась. Окружающие деликатно отошли.

— Где вы теперь? Как вы? Это страшно интересно и важно. Да, важно.

— В швейной мастерской. После того, как вы с офицером-то поспорили, не могла гостей принимать, опостылело.

— Выйдем, Настя, на воздух, устал я. Вы меня проводите?

— Как же, с великим удовольствием, я вам благодарна на всю жизнь!

Они вышли на Невский. Вечерний влажный воздух... Шум оживленного проспекта, экипажей... Достоевский взял Настю под локоть.

— Рассказывайте, — торопил, — ведь, может, и не встретимся. — Локоть Настин вздрогнул. — Да не потому, что я не хочу, а потому, что все под богом ходим. Я больной старик, даже за границу к немцам лечиться ездил...

— Что вы, — огорченно воскликнула Настя. — Вам господь еще веку прибавит...

— О себе говорите, Настя.

— В магазине — швейкой. А квартиру с подругой имеем на Кронверках. Жених есть. — Это сказала с гордостью. — Слесарь. Его, как вас, Федором зовут, имечко незабвенное. Иду я, значит, из магазина, и вижу

афишу... и извозчики у подъезда... — Она спуталась и замолкла.

Достоевский сбоку посмотрел на нее. Он был обрадован встречей. Обрадован до дрожи.

А Настя снова заговорила:

— Полгода назад мне одна важнецкая актерка из Александринского театра — у нас платье на нее шьют, — разъяснение дала о вас, где то есть ваши книги продаются. Я и купила роман «Преступление и наказание». Читала вслух. К нам и другие девицы слушать приходили.

— Ну и что? — Федор Михайлович довольно улыбнулся, и грудь как-то меньше болеть стала.

— Сами, небось, знаете. Душу нашу вынули. Гляньте, мол, как живем. Гляньте и запомнятуйте.

Она остановилась. В фонарном свете, в гаме и шуме людной улицы Настя ничего, кроме него, не видела. И как тогда, в ту давнюю ночь, прижалась к его лицу своим свежим влажным лицом и поцеловала в щеку.

По Невскому шли прохожие, у каждого — свои дела, большие и маленькие, шли прохожие, привыкшие ко всяким публичным сценам, и не было им никакого дела до того, что молодая женщина в платке целует пожилого мужчину. Кого этим удивить?..

МАНИФЕСТ О ВОЙНЕ

Свежий ветер дул с моря. Белые кучевые облака на синем небе то закрывали солнце, то давали ему простор, и, когда оно, большое и веселое, прорвалось через облака, яркие лучи заиграли на мостовой, на зеркальных окнах магазинов.

В весеннем апрельском воздухе грудь как-то вольнее дышала, и Федор Михайлович чувствовал себя помолодевшим. После ночной работы хотелось идти так молодцевато, как идут эти два кадетика, смеясь неизвестно чему.

Достоевский шел по проспекту, и чувство успокоения и любования Невским входило в него. Прямой, как бы разрезающий город пополам, тянулся проспект. Никакие архитектурные достопримечательности Берлина, никакие красоты Рима так не пленяли сердце писателя, как Невский.

И Аничков дворец, и бронзовые кони, созданные Клодом в сороковых годах, и Александринский театр, и оживленный Гостиный двор с его лавками и модницами — ах, до чего все вокруг радовалось весне и солнцу!

Но в какое-то мгновение все изменилось. У витрины книжного магазина, где только что выставили официальное сообщение, затолпился народ, слышались возбужденные голоса, и слово, бросившее Достоевского в трепет, колыхнулось в воздухе — война!

— Манифест о войне? — спросил он краснощекого молодого человека в форме путейского инженера.

— Да-с, о войне с Турцией... подписан императором в Кишиневе.

Инженер прочитал вслух манифест, призывающий русское воинство обнажить меч за святое дело освобождения славян от турецкого многовекового ига.

— Ну, ежели всем миром нажмем, турку конец будет, — басил солидный бородач в синей суконной поддевке.

— Турки сербов разбили... Турецкая армия, говорят, вооружена английскими ружьями. Фанатичный народ турки, а им еще англичане и немцы помощь оказывают, — разглагольствовал пожилой господин в потертом цилиндре.

Господину возражал молоденький офицер-артиллерист с черными в стрелочку усами. Ему сочувственно внимали несколько гимназистов и студентов. Артиллерист горячился и прибавлял к каждой фразе «вот что».

— Напрасно сербов фрапируете. Серб народ храбрый, но к регулярной войне пока непривычный, вот что... Они лихие партизаны, это и генерал Черняев подтверждал, — вот что, милостивый государы! Конечно, английское ружье лучше нашего, дальнобойнее, да солдат турецкий перед русским пасует, вот что... Русский солдат дисциплинирован, верен долгу, а тут еще на святое дело идет, вот что... Артиллерия русская по меткости стрельбы лучшая в Европе, вот что...

У Казанского собора застыли в бронзовом величии фельдмаршалы Кутузов и Барклай-де-Толли.

Достоевский вошел в храм. Шел молебен о ниспослании победы Российской державе. Много было женщин и молодых девушек. Писатель прислонился к колонне и задумался: «Война! Этого надо было ожидать. Сколько погибнет солдат, сколько останется сирот и

вдов!.. Но нельзя допустить, чтобы турецкие башибузуки уничтожали цветущие болгарские села, сжигали церкви, насиловали женщин, выкалывали глаза младенцам...

Такая война — не ради корысти, а ради спасения братьев-славян — святая и справедливая!»

Федор Михайлович перекрестился и прошел к гробнице Кутузова. Над ней склонились знамена, охраняя вечный сон полководца.

И мерные строки пушкинского стиха прозвучали в ушах Достоевского:

Перед гробницею святой стою с поникшею главой...

ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ БАЗАР

Федора Михайловича пригласили на великосветский вечер, который устраивался в пользу пострадавших братьев-славян. Изящные дамы в бальных туалетах продавали на нем всякие фарфоровые и фаянсовые безделушки: чашечки, вазочки, статуэтки. Некоторые предлагали шампанское, — бокал стоил пять рублей.

Публика была самая аристократическая, во фраках и мундирах. Повсюду сверкали звезды сановников и золотые эполеты генералов.

Среди присутствующих находился пользующийся общим вниманием англичанин, гладко выбритый с аккуратно подстриженными рыжими баками и с благосклонно оглядывающими всех серыми глазами. От хозяйки дома стало известно, что это член парламента и большой любитель искусства. Англичанин хорошо знал русский язык и чувствовал себя в Петербурге как дома.

Привлекал внимание гостей и другой иностранец — французский дипломат с бородкой-эспаньолкой, державшийся с изысканной галантностью. Оба иностранца были во фраках, и у обоих в петлицах — цветы: у англичанина — темно-красные, а у француза — белые гвоздики.

Дмитрий Васильевич Григорович, уже успевший «поддержать» братьев-славян (он выпил четыре бокала шампанского), оживленно разговаривал с французом, который улыбался и щурил глаза.

— Да, да, — говорил Григорович, — конечно, вы,

французы, далеко шагнули вперед по пути прогресса и цивилизации, это бесспорно, это истина. Ваши художники (он прищелкнул языком)—о, это прославленные мастера изображения натуры... «Завтрак на траве» Манэ—поистине новое слово в искусстве. Какая смелость в изображении обнаженной женщины! Какие световые эффекты! А ваша литература!..—Григорович возвел кверху глаза.

Француз поклонился и приложил руку к сердцу.

— На комплимент я могу ответить комплиментом, мсье Григорович. Новая русская литература наконец-то вошла в число европейских литератур. Мы имеем удовольствие читать произведения таких первоклассных талантов, как господ Тургенева, Толстого, Достоевского,—он на секунду остановился и вежливо добавил:—и ваши.

Григорович, очевидно, посчитал, что обряд представления выполнен и, раскланявшись с учтивым французским дипломатом, направился к англичанину. Через несколько минут они уже оживленно беседовали.

— Я думаю, сэр,—говорил Григорович,—что английская литература несомненно ближе к русской, чем какая-либо другая. В наш век, век пара и железных дорог, в век, я бы сказал, механический, ваша литература высоко держит знамя доброй старой Англии, Англии Шекспира...—Григорович хотел добавить—«и Байрона», но, посмотрев в самодовольное лицо англичанина, не решился.—Такие писатели, как Теккереи и Диккенс...

— Я не принадлежу к числу поклонников Диккенса,—сказал англичанин и слегка покраснел.—Диккенс, возможно, и хороший писатель, но он позволяет себе иногда выставлять пороки высшего общества.

— О, конечно,—улыбнулся Григорович,—вы это очень тонко подметили, сэр, но разрешите мне сказать, что никто, как Диккенс, не умеет затрагивать самые сокровенные, я бы сказал, святые чувства человека, и в этом отношении он близок к русской литературе.

— Я мало знаком с вашей литературой,—важно сказал англичанин,—и не могу о ней судить. Ваша литература еще слишком молода.

— Но разрешите заметить, сэр,—любезно произнес Григорович, в душе посылая англичанина ко всем чертям,—она уже кое-что сделала для общей культуры!

— Не замечал,— сказал англичанин.— Вы, русские, слишком непоследовательные люди, слишком фантастические люди,— нельзя предугадать, что вы сможете сделать.

К ним подошел Федор Михайлович. Он слышал разговор и вмешался в него:

— Хотя я и не имею чести быть представленным вам, но на правах русского литератора хочу заметить...— обратился он к англичанину.— Вот вы говорите о том, что мы непоследовательны и фантастичны... Я с вами согласен,— с вашей точки зрения мы действительно непоследовательны и фантастичны, потому что мы думаем не о благе одного человека, а о благе всего человечества. Наша литература... Не делайте, мистер, таких удивленных глаз! Наша литература отражает в себе стремления и чаяния русского гения, а русский гений — вы это запомните, мистер! — это такой гений, который уважает гении всех других наций, понимает их...

— О! — удивленно произнес англичанин.— Это непостижимо!

— Замечательное слово изволили сказать — непостижимо. Именно непостижимо! Нам близки Шекспир и Диккенс, Гете и Гюго, Бальзак и Вольтер. Принимая и вмещая все гении, мы остаемся русскими, да, да, русскими, мистер, создавая свою общечеловеческую идею, и нам, русским, принадлежит новое слово, которое мы скажем всему человечеству!

— О, это уже слишком! — Англичанин всем своим видом старался показать полное пренебрежение к словам, столь горячо высказанным. Он даже выпятил грудь и вставил в глаз монокль, но, встретив сверкающий взгляд Достоевского, невольно спросил:

— Я бы хотел знать, с кем имею честь разговаривать? И не будете ли вы любезны удовлетворить мое любопытство и сказать, какие произведения вами написаны?

— Я думаю, мистер, это вам совершенно безразлично,— ответил Федор Михайлович,— и моя фамилия — Достоевский — вам ничего не скажет: вы ведь не читаете русской литературы и только что заявили господину Григоровичу, что не знакомы с нею.— И он, круто повернувшись, отошел в сторону.

В пылу спора ни англичанин, ни Достоевский не заметили, что вокруг них образовалась группа слушателей: одни, наиболее сановные гости, с неодобрением, а другие с удовольствием слушали этот литературный спор.

Француз, как только Достоевский отошел, обратился к Григоровичу:

— Я много слышал и читал о господине Достоевском. И я бы просил вас познакомить меня с ним,— он очень оригинальный писатель.

— Да,— вставил англичанин,— он не только оригинальный но и одержимый человек. Настоящий русский!

Хозяйка дома в бальном платье, на котором сверкали бриллианты, желая сгладить неприятное впечатление, проворковала:

— Достоевский, сэр, это же больной человек, эпилептик. К нему надо быть снисходительным, да, снисходительным. К тому же он принят в свете, его уважают князь Мещерский, тайный советник Победоносцев, им интересуется великий князь-цесаревич.

— О, тогда другое дело! Я не знал...— сконфузился англичанин.

Между тем Достоевский и французский дипломат, усевшись в уединенном уголке (Григорович их представил друг другу и упорхнул, чтобы, как он выразился, не быть третьим лишним), закурили сигары и стали оживленно беседовать о французской литературе. Замечания Достоевского вызвали интерес у его собеседника, который он не скрывал.

— Я счастлив, что этот вечер для меня ознаменовался встречей с вами,— признался он.— Мы, французы, умеем ценить все возвышенное и изящное!

— Я бы сказал, что французы потенциально ближе к нам, чем другие нации,— заметил Федор Михайлович.— Я сам, еще будучи юношей, упивался произведениями Бальзака, Виктора Гюго и Жорж Санд! Но одно плохо: современный средний француз слишком обуржуазился, он забывает былую славу Франции, стрижет купоны, торгует в мелочной лавке и теряет вкус к прекрасному. Вы уж простите меня, вы стали стареть, а это плохо: когда нация стареет, ее можно повести на любом поводе...

Лицо француза стало печальным. Он кивнул головой.

— О, вы почти правы, мсье Достоевский, почти правы. Бедная Франция, ей нужны искренние друзья! Между нами, я убежден — только в союзе с вашей родиной Франция может быть счастлива и может не бояться за свое будущее.

Их разговор, прервал какой-то звездоносный старик в раззолоченном мундире.

— Дорогой шевалье,— зашамкал он,— мы составили небольшую партию в вист и просим разделить нашу компанию.

Француз поднялся и поклонился Достоевскому. Федор Михайлович докурил сигару и, недовольный вечером, особенно недовольный тем, что поспорил с англичанином («Он, небось, теперь злится, что я его не сэром, а просто мистером называл,— они на этот счет щепетильны»), направился из гостиной.

Проходя мимо одного из благотворительных столиков, за которым продавались фарфоровые вазочки и гипсовые мопсики, Достоевский увидел ехидное, с клочковатой бородкой лицо Алексея Феофилактовича Писемского. Федор Михайлович подошел и поздоровался с ним. Тот молча сунул ему руку и продолжал разговор со стоящей за столиком дамой. Маленькие ироничные глаза его сверкали.

— Так вот, сударыня, вы хотите меня уверить, что это страшное собачье существо может стоить три рубля, когда ему пять копеек самая подходящая цена, да и то в базарный день.

— Да поймите меня, мсье Писемский, что это, так сказать, особый мопсик,— он вам будет напоминать о вашей бескровной жертве братьям-славянам.

— Мерси, мерси,— насмешливо раскланялся Писемский.— За такую бескровную жертву вы бы лучше гипсовых венер продавали, что ли,— все-таки услаждение для холостяков и вдовцов. А то, изволите видеть, это-кое собачье безобразие — и три рубля!

— Но ведь это же в пользу, то есть я хочу сказать, на пользу,— лепетала обескураженная дама.— Если вам не нравится мопсик, можете взять эту милую фарфоровую вазочку за пять рублей или букетик гвоздик,— он тоже стоит три рубля.

— Ах, ах,— заулыбался Писемский,— вы меня восхищаете, сударыня! Эту милую вазочку я могу поставить только лишь на кухне. Лучше бы продавали пе-

речницы,— все-таки вещь полезная в хозяйстве. А гораздо благороднее было просто поставить на столики благотворительные кружки, в которые почтенные гости опускали бы посильную лепту. Или это для вас «шокинг» — подражать церковным старостам?

Дама ничего не ответила: она была доведена до крайности. Это и нужно было Писемскому. Он медленно вынул из кармана брюк старый потертый кошелек, достал ассигнацию в три рубля, положил на стол перед дамой и двумя пальцами взял за голову мопсика.

— Ну, ну, не расстраивайтесь, сударыня! Беру вашего урода. Честь имею кланяться!

В гардеробе, надевая шубу, Писемский сказал Достоевскому:

— Не люблю я, Федор Михайлович, этих светских благотворителей. От их благотворительности тошнит, а братьям-славянам рожки да ножки останутся,— все разойдется по бумажникам комитетских чиновников. По Москве знаю я эту публику!

Они вышли вместе на улицу.

Над городом стояла серая петербургская ночь. На набережной горели редкие фонари. Достоевский и Писемский молча прошли Адмиралтейство и вышли на Невский.

Около подворотни стояла девочка-нищенка.

— Подайте Христа ради!

Оба писателя положили в протянутую руку по гривеннику.

Но, отойдя несколько шагов, Писемский остановился.

— Пойдите, Федор Михайлович,— сказал он и быстро зашагал обратно к девочке. Вынул из кармана шубы трехрублевого мопсика и молча протянул девочке. Затем, догнав Достоевского, облегченно вздохнул:

— Ну вот, кажется, действительно благотворительное дело.

КУРСИСТКА

Когда Федор Михайлович собирался выйти из квартиры и, уже одетый в пальто, нервно шарил по карманам, ища перчатки, раздался звонок. Звонок был нерешительный, сомневающийся. Дернулся, замолк, потом снова встрепенулся.

Писатель открыл дверь. Перед ним стояла невысо-

кая худенькая девушка, очень юная. Ну лет от силы девятнадцати. На ней была жакетка, отделанная стареньким мехом коричневого цвета. На голове — шапочка из того же меха. «Очевидно, все это переделано из материнской шубы...»

— Здесь живет Федор Михайлович Достоевский? — спросила робко девушка.

— Да. Чем могу служить?

Слабый румянец окрасил ее щеки.

— Вы, кажется, уходите? Я пришла не вовремя?

— Да, я по одному неотложному, именно неотложному делу должен...

— Ах, как жаль, — сказала девушка все так же робко. — Я не располагаю, у меня часы считанные, и при этом я живу на другом конце города, а мне завтра уезжать. Неудобно получилось...

— Да-с, занят, — упрямо проговорил Федор Михайлович, избегая смотреть ей в лицо («чтобы не расчувствоваться, а уж если расчувствуюсь, обязательно останусь дома»).

Достоевский думал, что девушка уйдет, но она стояла в дверях, загораживая собою выход.

— Мне, право, некогда, — сказал Достоевский извиняющимся голосом.

— Но и мне некогда, я к вам больше ведь не смогу зайти, — говорила она тихо. — И я прошу вас остаться, у меня к вам серьезный, очень серьезный разговор. Я, прежде чем к вам идти, долго сомневалась — надо ли? Я, знаете, робела, даже и сейчас неловко чувствую себя, но раз надо... — Она не докончила свою мысль, вскинула на Достоевского глаза. Серые, открытые...

Встретившись с ними взглядом, Федор Михайлович понял, что девушка действительно пришла к нему по важному делу, и он не вправе не принять ее.

— Ну что ж, прошу. — Он посторонился, пропустил девушку. — Раздеться можно здесь, вот вешалка. На улице, кажется, ветрено?

— Кажется. Я не обратила внимания. И что с того, что ветрено, не суть важно.

Она сняла жакетку. В коричневом платье с белым воротничком девушка казалась еще тоньше.

«Прямо бестелесная», — подумал Достоевский.

В кабинете он предложил ей стул, а сам остался стоять, потирая руки.

— Ну-с, я слушаю.

Девушка сидела выпрямившись, следя за каждым движением Федора Михайловича.

— Вы бы сели,—наконец проговорила она,—мне тогда легче будет говорить. Мне обязательно нужно ваше лицо видеть.

Достоевский улыбнулся, сел, попросил разрешения закурить.

— Я, когда шла к вам, приготовила целую речь и замечательно убедительно получалось, а теперь мне трудно, но все равно... Вы, Федор Михайлович, очевидно, по моему виду догадались, что я курсистка. Учусь второй год, сама я вологодская, там окончила гимназию. Я ваши произведения все прочла, и даже «Бесы».

Глаза у девушки сверкнули.

— Много там у вас страшного, непонятного. И «Дневник писателя» читаю. Знаете, я бы вообще его и не читала, но там есть мысли очень глубокие... И многое кривое!

Достоевский вздрогнул, жадно затянулся дымом, закашлялся.

— Я знаю, вам больно, Федор Михайлович, слушать, но я иначе говорить не могу, я бы себя человеком не считала, если бы об этом умолчала. Вы написали «Бедных людей», «Неточку Незванову», «Записки из Мертвого дома», «Преступление и наказание». Какие это вещи! Вот я смотрю на вас, на живого Достоевского, у вас такой больной измученный вид и лоб, как у Сократа, и думаю—сколько он знает, сколько он предвидит и сколько он страдает!

— Сколько он страдает!—вдруг проговорил Достоевский и вскочил.

Девушка испуганно на него взглянула.

— Я вас напугал, великодушно простите!—Он снова сел.—Прошу вас, говорите, говорите. Вы очень хорошо говорите.

— Я вот завтра в одиннадцать часов дня уезжаю. Нас шесть курсисток уезжает, мы записались в санитарный отряд. Нелегко было туда записаться, знакомый военный врач нас с собой берет. Мне, конечно, труднее будет, потому что я филологичка, а те медицине учились.

Достоевский невольно посмотрел на ее руки. Это были бледные тонкие руки с синими жилками и длин-

ными пальцами. Они как-то жалостливо лежали на девичьих коленях.

— Последнюю неделю я ходила в Мариинскую общину, училась перевязки делать. Это, конечно, немного, это очень немного, Федор Михайлович, но где не поможет знание, поможет любовь.

— Вы опять прекрасное слово сказали — любви! Но как вот вы, такая слабая, такая беззащитная будете там, на Балканах? Я знаю эти лазареты, я знаю раны, ужасные раны бывают, кровоточащие, загрязненные. Кровь и страдания... — Достоевский закрыл глаза. — Это не под силу девушке, это подвиг для женщины, которая страдала, которая в этом самом тяжелом труде хочет очиститься. Ну, а вы?

— Что я? — спросила девушка. — Что я, Федор Михайлович? И почему вы так говорите? Очищение, подвиг! Вы что же думаете, что только Соня Мармеладова, что только униженные и оскорбленные способны на подвиг?

— Да нет, не то, не то, совсем не-то, вы меня не так поняли, не так меня поняли, сударыня.

— Нет, Федор Михайлович, я вас прошу, я все вам расскажу, зачем я пришла. Дайте мне выразить свою идею, а потом вы сразу мне и ответите, хорошо?

— Хорошо, я готов вас слушать, я готов вас слушать сколько вам будет угодно...

Он снова закурил.

— Я всегда любила нашу литературу. Любила ее за правду жизни, за честность мысли, — продолжала говорить девушка. — Я требовательная, вы не смотрите, что я такая на вид робкая, слабая — это только видимость, у меня душа упрямая...

Достоевский закивал головой, ему понравилось определение «упрямая душа».

— Мой отец священником был, добрый, хороший и слабохарактерный. Он, вы знаете, не из таких попов, — покраснела она, — которые только и знают, что службы да требы. Нет, он у меня светские журналы и книги читал, его вольнодумцем у нас звали. Я у него единственная дочка. Меня отец не в епархиальное училище отдал (не любил он поповен), а в гимназию. Я по вашему лицу, Федор Михайлович, вижу, что вам не нравится, когда обсуждают духовенство. А вот я и папа (она сверкнула глазами), мы не только обсужда-

ли, но и осуждали. В гимназии у нас новая начальница,—она из немецких баронесс была, родственница губернатора,—все ко мне придиралась, невзлюбила меня, а законоучитель — отец Михаил, так тот называл меня сорной травой. Вот, говорил, выросла в вертограде духовном сорная трава. А тут еще,—девушка запнулась, но быстро справилась с волнением,—в Вологду ссыльный студент приехал, его исключили из Московского университета. Стал он ходить к нам. Мы с ним рассуждали о боге, о государстве, о Белинском, о Чернышевском, о Толстом и о вас, Федор Михайлович. Он мне дал прочитать Эрнеста Ренана «Жизнь Христа». Но мама не захотела, чтобы он к нам ходил, так ему и отказали от дома. А потом его по распоряжению Третьего отделения отправили в далекий городок Тотму. А какой это был человек, Федор Михайлович!

Она помолчала, потом заговорила снова:

— А в позапрошлом году на водосвятии мороз был злющий, отец простудился и помер. Остались мы с мамой вдвоем. Стал за меня свататься чиновник один из губернского правления, вдовец, но богатый и еще молодой. Я отказала, и тут на меня все стали смотреть осуждающе: гордячка, мол, гимназистка. Тогда я сюда уехала учиться. Только маму жалко, она там одна осталась... Здесь в Петербурге я многих хороших людей узнала и много книг прочитала. Я ведь все свободное время в публичной библиотеке сижу читаю.

Достоевский не выдержал. На девушку смотрело теперь совсем другое лицо — холодное и презрительное.

— А вы,—простите, что я вас перебиваю, мне это важно для дальнейшего разговора, вы не можете понять, насколько важно,—к этим хорошим книгам атеистические относите? Такие, где материя над духом торжествует? И еще вопрос: Христос есть богочеловек, спаситель мира или, по-вашему, не бог вовсе, а самый земной человек, такой, как мы с вами, ну, может быть, чуточку лучше меня?—Он взмахнул рукою, как бы отгоняя страшные видения, вскочил со стула и прошелся по комнате.—Вы, по всей видимости, честная девушка, на подвиг, ну если не на подвиг (это слово вам не нравится), на нравственные муки идете — помогать ближнему... А как же помогать ближнему без заповеди Христовой? Нет любви большей, чем за других жизнь отдать, а? Да отвечайте же! — почти крикнул он.

— Значит, вы от меня, Федор Михайлович, ответа ждете? Вы? К слову которого прислушиваются тысячи людей? Значит, вам нечего сказать? Вы сами, значит, слабый человек!

Она тоже говорила в каком-то томительном волнении. И уже сидела перед ним не робкая девушка в коричневом гимназическом платье с беленьким воротничком, а человек неумолимо враждебный Достоевскому и всем его воззрениям.

Достоевский, ничего не отвечая, шагал по кабинету.

— Ну хорошо, я вам скажу, Федор Михайлович.— Да, я не верю в бога и я, конечно, не могу считать Христа за сына божьего. И библия, и евангелие — книги для меня не божественные, а нравственные и исторические. Для меня божественное заключается не во всепрощении, не в молитве, не в вере в загробную жизнь. И не думайте, что это оттого, что я молодая, что мне жить долго... Писемский моей подруге сказал: «Вы, милая барышня, в бога не верите потому, что вам умирать не скоро, а как до моих лет доживете, в день по сто поклонов будете отбивать!» Нет, Федор Михайлович, совсем не потому... Для меня божественное — в человеке, в его идеалах, в его сознании долга перед обществом, в долге перед народом. А у вас, когда кто-нибудь из героев веру в бога потеряет, обязательно считает для себя все дозволенным, как будто вера в христианскую добродетель — узда на человеке. Если я иду помогать раненым солдатам, то это делаю не ради спасения своей души, чтобы получить возмещение в жизни вечной, а просто для того, чтобы помочь, чтобы показать, что русская женщина — не раба, а свободный человек...

Она покраснела.

— Ах, опять не то, опять не то я сказала... Я пришла не для того, чтобы красоваться перед вами... Вот видите, Федор Михайлович, какая я еще глупая. Пришла к знаменитому писателю, пришла какие-то вопросы решать, а получилось совсем не так! Никто так, как вы, не умеет жалеть униженного, подметить в человеке все его духовные переживания. И женщин вы уважаете, и сами пострадали на каторге, а с другой стороны, в вас какой-то двойник живет, холодный и христианский. Не такой христианский, как Мышкин или как в «Подростке» старик, а злой, непримиримый, как Никон!

Вы на Победоносцева похожи, вот вы какой, вот вы какой!..— На глазах у нее были слезы.— Вы в ваше царство небесное людей за шиворот хотите тащить...— и осеклась.

— Замолчите! — Достоевский больно схватил ее за плечо, хрипло и тяжело дыша.— Самонадеянная и глупая девчонка! Как вы, вы,— подчеркнул он с болью и презрением,— можете судить меня! Как можете?

Она видела, что он сейчас сделает что-нибудь ужасное, и ей стало жаль его, и жгучий стыд охватил ее.

— Федор Михайлович,— сказала она робко,— Федор Михайлович, я не то хотела сказать, я это в запальчивости, я ведь к вам с чистым сердцем пришла. Простите!..

Неимоверным усилием воли Достоевский переборол свой гнев.

— Желаю вам,— сказал он каким-то деревянным голосом,— счастливого пути.

— Простите!..— Она встала, неловко поклонилась и вышла из кабинета.

На вокзале Николаевской железной дороги в грязном зале третьего класса было чрезвычайно сумрачно. Зал был заполнен серыми солдатскими шинелями, походными котомками, жестяными чайниками. Стоял непрекращающийся гул от разговоров. Все скамьи были заняты, и многие сидели просто на сундучках.

Около окна, почти у самой входной двери, сгруппировались отъезжающие сестры милосердия и студенты-фельдшеры. Сестры в черных косынках и в черных жакетах, на которых выделялись белые повязки с красным крестом на рукавах. На студентах были солдатские шинели с погонами вольноопределяющихся.

— Ну что, Катя, были у Достоевского?— спросил маленькую хрупкую девушку высокий студент с усталым желчным лицом.— Что вам сказал сей новоявленный мессия?

— Ну и была, и говорила,— строптиво ответила девушка.— И не понимаю, Михайлов, почему у вас такой иронический тон?

— А вы как прикажете, уважаемая Катя, говорить о Достоевском, о писателе, который растоптал все свои первоначальные идеалы и стал проповедником православия?

Катя передернула худенькими плечами. На ее лице выразилось негодование.

— И совсем не остроумно, Михайлов! Говорите заученные фразы, а не хотите проникнуть в глубину писательской души. Это несправедливо и, простите меня, нечестно!

— Наша Катенька опять находится в ажютаже! — засмеялся коренастый блондин с веселыми голубыми глазами.

Но Катя даже не взглянула на него.

— По-моему, господа, Достоевский очень талантливый художник, психологически глубокий, но больной. Плутает, как в египетском лабиринте.

Высокая девушка со смуглым лицом, слушавшая до сих пор молча, воскликнула:

— Ах, господи, до чего же все это надоело! Едем мы с вами, дорогие коллеги, на Балканы, впереди столько интересного и нужного дела, а мы только портим себе кровь спорами. Для чего — не понимаю...

— У вас, Танечка, — обернулся к ней Михайлов, — отсутствие общественных идеалов: для вас все равно, что Достоевский, что Чернышевский...

Таня вспыхнула:

— Ну и хорошо, очень довольна. Я уж лучше буду заниматься делом, чем переливанием из пустого в порожнее. А что касается моих идеалов, то не вам, Михайлов, о них судить! Правильно сказала Катя: ко всему-то вы подходите с готовыми мнениями...

— Извините, — Михайлов поклонился, — извините, милостивая государыня, что я вас оскорбил. Совершенно упустил из виду, что «спорить с женщиной все равно, что черпать воду решетом».

Мимо прошел солидный станционный жандарм, гремя шпорами и саблею. Остановившись посреди зала, он расправил седые усы и зычным хриловатым басом провозгласил:

— Прошу приготовиться к отправке. Воинский эшелон отходит со второй платформы через полчаса, — затем повернулся к группе медицинскому персоналу и более мягко закончил: — А вы, господа, вольноопределяющиеся и сестрицы, прошли бы в залу второго класса — там не в пример удобнее. Чего вам среди солдатни толкаться?

— А уж это, господин жандарм, — Михайлов спе-

циально повысил голос, чтобы все его слышали,— а уж это нам позвольте знать! Нам здесь, среди солдатни, как вы изволили выразиться, гораздо приятнее, чем среди благородной публики.

— Чего?— Жандарм выпучил глаза на Михайлова.— Чего вы это такое говорите, господин вольноопределяющийся? Я вам деликатное предложение делаю, а вы собачитесь...

Неодобрительно оглядев молодежь, он такой же важной походкой, как вошел, направился к выходу на платформу.

Неожиданно рывкнул паровозный гудок. Солдаты и провожающие их женщины в платочках стали тесниться к выходу.

— Ну, коллеги, — сказал веселый студент, — нам пора!

— Да подождите еще, — слышалось в ответ. — Успеем... Публика выйдет — свободнее станет.

В дверях показалась странная фигура в длинном пальто и черной шляпе, плотно надвинутой на лоб, так плотно, что из-под нее едва виднелись брови и глубоко запавшие сверкающие лихорадочным блеском глаза. Человек остановился близ дверей, беспокойно осматривая публику.

И вдруг Катя, сорвавшись со своего места, подбежала к нему.

— Федор Михайлович! — закричала она таким пронзительным голосом, что он заглушил даже говор толпы. — Федор Михайлович, я так и думала, что вы придете!

Достоевский сжал ее маленькую руку.

— Думали? Думали и ждали?

— Ну конечно, Федор Михайлович! Я страсть как довольна вас видеть... Да что же мы стоим? Идемте, идемте! — Она схватила Достоевского за рукав пальто и потащила к студенческой группе. — Господа! Федор Михайлович Достоевский пришел сюда!.. А вы, Михайлов, говорили... Ах вы, книжный человек! Умный вы и сердечный, только на себя напускаете излишнюю ученость. Это очень плохо — напускать на себя излишнюю ученость, — Катя всплеснула руками. — Боже мой, какую я ересь говорю, совсем потерялась от радости!

И так она была хороша в своем оживлении, что все невольно залюбовались ею.

— Ах ты, Катенька, Катенька, великолепная душа моя!—Таня, подбежав, обняла Катю и стала целовать ее в раскрасневшиеся щеки.

Все заулыбались и всем сделалось как-то легко, и не стало натянутости. Молодые люди почтительно пожимали руку писателю.

— Да я что ж,—лицо Михайлова вдруг осветилось улыбкой и сделалось совсем не похожим на прежнее, ироническое.— Это вы правильно, Катя, насчет учености. А что Федор Михайлович пришел, я доволен... Доволен. «Записки из Мертвого дома», «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание» и «Под-росток» не только читаю, но и почитаю. Мы все, пред-ставители русской молодежи, гордимся русской лите-ратурой и хотим видеть в ней отражение своих идеалов и надежд.

Зал уже почти опустел. В открытые двери с плат-формы доносились звуки военного оркестра.

К студентам подбежал молодой военный врач.

— Коллеги! Что же вы? Через пять минут отпра-вление. Главный врач велел немедленно идти к ваго-нам...— Он махнул рукой и побежал на платформу.

— Ну, так будьте здоровы, Федор Михайлович!— Михайлов протянул ему руку.

— Будьте здоровы, Федор Михайлович! Желаем вам всего лучшего,—веселый голубоглазый студент также дружески пожал руку Достоевскому.

— Да, да,—Достоевский улыбался, отвечая на ру-копожатия.— Спасибо, господа, я не забуду ваших слов... Я всегда уважал русскую молодежь. А насчет «Бесов»... это долгая история. Когда вернетесь, погово-рим... А отвечу я вам новым романом,—он пристально посмотрел в лицо Кате,—совсем другим.

В медный колокол ударили два раза. Загудел па-ровоз. Студенты подхватили чемоданы.

— До свидания, Федор Михайлович, до свидания!

Достоевский взял руку Кати. Его опять умилила хрупкая, тонкая с синими прожилками рука — совер-шенно детская. Он взял эту руку и бережно, словно прикладывался к чудотворной иконе, поцеловал ее.

Вечером при свете свечей в своем кабинете Досто-евский сделал черновую запись:

«Главное и самое спасительное обновление русско-

го общества выпадает, бесспорно, на долю русской женщины. Она доказала, какой высоты она может достигнуть и что может совершить. В русской земле много великих сердцем женщин, готовых на общественный труд и на самопожертвование».

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ НЕКРАСОВА

Тысяча восемьсот семьдесят седьмой год подходил к концу... Двадцать восьмого декабря Федор Михайлович проснулся с ощущением смутной тревоги. Еще вчера, ложась спать, он испытывал волнение и, чтобы успокоиться, читал «Отверженные» Гюго. Спал прерывисто и рано проснулся.

Сероватые сумерки.. Зажег свечу. Оделся.

Когда пил чай, в парадном позвонили. Забежал взволнованный знакомый и сообщил о смерти Некрасова.

Вот почему Федор Михайлович так тревожился. Знал, что Николай Алексеевич безнадежен,— сам навещал больного... И все же смерть Некрасова показалась неожиданной.

На улице ветер, морозно...

На извозчике — старый армяк в заплатках, лошаденка сивая, полость у санок вытертая.

— Вы уж, барин, не сердчайте. С утра седоков-то не было, вот мы и охолодали.

— Ладно, дедушка, мне не на свадьбу! — отозвался Достоевский. — Приятель у меня хороший помер!

— Приятель, гришь, помер? Отмаялся значит, царство ему небесное!

— Верное слово, дедушка, сказал: «отмаялся»... Наша жизнь — маета.

У дома Некрасова толпился народ.

Стояли кареты, санки.

Мимо Достоевского пробежала девушка в меховом жакете, держа носовой платок у глаз.

В зале, где лежал покойный, горели у изголовья свечи. За аналоем дьячок торжественно и нараспев читал псалтырь. На желтом лице усопшего застыли следы пережитых страданий.

Достоевский поцеловал холодную руку Некрасова, поклонился и отошел в сторону, давая место другим.

Хотел было выразить соболезнование вдове покой-

ного Зинаиде Николаевне, но, увидев ее лицо (сплошное горе), не решился. Чем тут утетишь!

Псаломщик читал скорбно:

— Нестъ человек, иже не согрешит...

Федор Михайлович постоял, перекрестился и тихо вышел.

Шел снег.

У подъезда дома Некрасова — толпа молодежи: студенческие фуражки, шапочки курсисток, гимназические шинели.

* *
*

Как и вчера, Федору Михайловичу не работалось. «Нестъ человек, иже не согрешит...»

Анна Григорьевна, боясь оставить мужа одного, тихонько прошла в кабинет и села в углу дивана. Она знала, как ценил Достоевский покойного поэта и опасалась, что переживания могут вызвать у него припадок эпилепсии. Федор Михайлович ничего не сказал ей, только кивнул.

На письменном столе — сделанная двадцать четвертого декабря запись планов на десять лет. Мысли лихорадочно бились в мозгу: «Отмучился Николай Алексеевич... А у меня — планы на десять лет. Конечно, хорошо бы прожить и дольше... Но разве можно предугадывать сроки? Судьба неумолима...»

Может быть, и здесь, за его креслом, стоит она — смерть. Нет, Федор Михайлович не может сегодня работать...

«Восстань, пророк, и виждь и внимли, исполнись волею моею». Это из Пушкина. Голос народа. Голос вечности.

И Николай Алексеевич Некрасов умер, но слово его осталось.

Достоевский подходит к книжной полке и берет три книги Некрасова. Он берет их с большой нежностью. Открывает первый томик и начинает вслух читать стихи.

Анна Григорьевна, затаив дыхание, слушает.

Достоевский читает по-особому, вбирая в себя строчки и одновременно припоминая мельчайшие подробности встреч с покойным.

И время идет назад... Сколько было славных мечтаний! Сколько порывов и юношеских сомнений!

Дни работы над «Бедными людьми»... Достоевский не сентиментален, но сейчас, когда в доме Краевского лежит в гробу то, что было Некрасовым («земля есть и в землю отыдеш»), он видит поэта молодым, взволнованным, прибежавшим в его квартиру с Григоровичем после чтения рукописи «Бедные люди». Как искренно, ах как искренно обнимал он сконфуженного автора романа. Такое не забывается!

— Вы, вы не только талант, вы — выше, — сказал ему тогда Николай Алексеевич.

И перед Достоевским всплывает другое лицо — с блестящими глазами, тонкое и нервное, лицо человека, который был совестью литературы, — лицо Виссариона Григорьевича Белинского.

В жизни есть такие моменты, которые не сотрет ничто, и в жизни встречаются такие люди, одна мысль о которых заставляет расширяться сердце и делает человека счастливым, как бы он несчастлив не был.

Белинский! Некрасов!..

Федор Михайлович обхватывает руками колени, сжимает руки. Глаза его сухи, он плачет сердцем. Это гораздо тяжелее — плакать так, сердцем.

Достоевский встает, ходит по комнате... Снова начинает чтение стихов Некрасова. И снова раздумья одолевают его...

«Конечно, Некрасов — не Пушкин. В музыкальности стиха он уступает и Пушкину, и Лермонтову. И в поэтических размерах он порою однообразен. И порою слишком риторичен. Но в чем же его сила? Что же заставляет видеть в нем не только поэта, а великого поэта, поэта — кумира молодежи. Молодые люди всегда более искренни. И более восприимчивы.

В чем же тут дело?»

— Понимаешь, Аня, — обращается он к жене, — скажем, был поэт Тютчев — поэт глубокий, талантливый, философический, но он ни в какое сравнение не может идти с Некрасовым по значимости влияния на читающую публику. Сила Некрасова... — в тишине кабинета голос его звучит раздельно и ясно, — в его чувстве любви к народу. В народе, в русском мужике, в русском крестьянине искал Некрасов спасение. Когда ему бывало тяжело, когда поэт задыхался от скверны окружаю-

щей его обстановки, от мелких кляуз, интриг, цензурных придирок,— он искал и находил спасение только в народе, в его стремлениях, в его мужестве, в его уме, в его вере.— Достоевский задумывается и затем продолжает:— Да! Многое простится этому поэту за его великое служение народу. Многое. Да и есть ли что прощать? Как ты думаешь, Аня?

Время идет... Слышен шелест перелистываемых страниц. Достоевский читает Некрасова.

*
* *
*

Морозный день тридцатого декабря... Серое небо. Серые дома.

По Литейному проспекту двигается похоронная процессия.

Студенты и курсистки — шпалерами по мостовой.

Тротуары переполнены любопытствующими.

Мальчишки — на фонарях, мальчишки — на крышах.

Медленно движется траурная колесница. Гроб — на руках друзей. Факелы. И венки...

Множество венков. И среди них венок с алой лентой, на которой золотыми буквами выведено:

«Н. А. НЕКРАСОВУ ОТ СОЦИАЛИСТОВ».

Некрасов совершал свой последний путь, как триумфатор.

Хор певчих печально выводил «вечную память», и скорбные слова плыли к тяжелому небу.

Федор Михайлович шел за гробом, шел с обнаженной головой.

Анна Григорьевна волновалась.

— Простудишься, Федя. Поедем домой, а через два часа успеем в Новодевичий на отпевание.

— Подожди, Аня, дойдем до Итальянской.

Сзади Достоевских слышится возмущенный ропот:

— И здесь не могли обойтись без стражей порядка!

— Хоть бы последний путь не оскверняли!

За цепью студентов по обоим сторонам процессии вытянулись на лошадях серые монументальные жандармы. В морозном тумане зловеще поблескивали их каски и палаши...

Кладбище захлебнулось народом. Каждому слову внимали в благоговейном молчании.

«У кого такой молодой, звонкий, взволнованный голос?» — Достоевский пристально вглядывался в оратора.

Речь произносил студент* с умным, красивым и, как определил Федор Михайлович, вдохновенным лицом. Он говорил о Некрасове как о великом демократе, друге Белинского, Добролюбова, издателя «Современника» и «Отечественных записок», авторе «Железной дороги», о Некрасове, воплотившем в своих стихах не только скорбь, но и гнев народа, его мужество и его силу. И когда он закончил, гул одобрения пронесся по кладбищу.

Потом еще кто-то говорил, но Достоевский уже плохо слушал. Он протиснулся к открытой могиле. Вокруг него была молодежь. Какие славные девичьи и юношеские глаза! И сколько любви в них, в этих глазах, устремленных на гроб поэта!

Федор Михайлович порывисто вздохнул: «Что сказать ему, старому русскому литератору, о Некрасове этой молодежи — будущему России? Что сказать?»

Его заметили. Его выступления ожидали. И Достоевский своим слабым сдавленным голосом начал речь. В своей импровизации он говорил о Некрасове как о поэте народном, поэте-печальнике, продолжателе пушкинских традиций, говорил, что по значению его можно сразу же поставить за Пушкиным, Лермонтовым.

При этих словах тишина разорвалась.

— Выше! Выше!.. раздался молодой голос.

Домой Достоевский ехал в санках. Он был недоволен собой**. «Не так надо было сказать. Не спорить у раскрытой могилы — кто выше!»

Ломило виски. На душе было смутно и тоскливо.

ДАРОВОЕ

У брата Анны Григорьевны, Ивана Григорьевича Сниткина, в Курской губернии было имение Малый Прикол. Имение благоустроенное, с лесной дачей, со своим молочным хозяйством. Иван Григорьевич Сниткин, воспитанник сельскохозяйственной академии, с по-

* Это был Г. В. Плеханов.

** Впоследствии Федор Михайлович дал анализ деятельности Некрасова в очередном «Дневнике писателя».

ниманием занимался ведением хозяйства, отдавал этому много сил и времени. К тому же невесту он взял богатую, и имение их процветало.

Достоевские арендовали у него на лето усадьбу, и Анна Григорьевна жила там с детьми. Федор Михайлович должен был приехать к ним несколько позднее,— его задержала сдача в печать очередного выпуска «Дневника писателя».

Но, направляясь к семейству, Достоевский решил сделать крюк и заехать хотя бы на два дня в родительскую деревеньку, в Даровое, где теперь жила сестрица Верочка. Его вдруг охватило огромное желание «вернуться в детство».

И вот Достоевский делает пересадку и в дребезжащем, грязном, разболтанном железнодорожном вагоне следует в Даровое, с нетерпением дожидаясь той драгоценной минуты, когда увидит наконец родные места.

Со станции Федор Михайлович едет по ухабистой дороге на тряской таратайке.

— Ну, как жизнь-то при воле? Лучше стало?— спрашивает он возницу.

Пожилой крестьянин в синей пестрядинной рубаше, с коричневым морщинистым лицом тянет:

— Звестное дело, конечно, дышать-то можно.— Он искоса поглядывает на седока, и Федор Михайлович читает в его взгляде любопытство и осторожность: «Кто ты, мол, таков, не из начальства ли?»

— Да ты, дядя, не бойся,— успокаивает его Достоевский.— Я не по казенному делу, а сам от себя. Тут у меня сестра — помещица Вера Михайловна Иванова.

— А...— кивает мужик.— Стало быть, вы, барин, ихний братец...— Не Федор ли Михайлович?

— Он самый,— оживляется Достоевский.— Узнал, брат?

— Постарел ты, батюшка,— сокрушается возница.— До чего же ты постарел! Видать, жисть-то тебя, сердешного, терла!

— Да, брат, терла порядочно, живого места не оставила,— соглашается Достоевский.

— Я вас дитем еще знавал,— сообщает возница.— Я в вашей Черемошне частенько бывал. Михайлу Андреевича помню — суровый был барин, да,— и умолкает.

Федор Михайлович вглядывается в раскинувшуюся вокруг низкую равнину, в нависшее над ней низкое не-

бо. В стороне от дороги лесок — чахлый осинник, березки с предчувствием ранней осени, — скоро начнут желтеть. И все это до слез мило. Родина!

Вон — овраг, а там и деревушка. Избы — боже мой, что за избы! — почерневшие, с покосившимися оконцами, с побуревшей соломой на крышах. За деревней полоски крестьянской земли, низкорослый хлеб на них.

Федор Михайлович вздыхает, невольно из детства выплывает картина, как ему — мальчугану на опушке Брыковской рощи померещился волк, как забилося сердце и он, плача, побежал к усадьбе, где увидел пожилого пахаря — крепостного мужика Марeya. Тот от души приласкал его — ребенка своего помещика. Достоевский всю жизнь вспоминал эту крестьянскую ласку и доброту, и Марей стал для него неизгладимым образом русского народа, да, неизгладимым.

У Достоевского увлажняются глаза. Он поворачивается на повозке. Возница подтягивает веревочные вожжи.

— Не дает господь урожая, — указывает кнутовищем на поля. — Сами гляньте... Дожди замучили, без хлеба насидимся. А тут еще теперь война с туркой... Что и говорить-то, трудно мужику.

Ах, оно вечное: «без хлеба насидимся». Как это знакомо Федору Михайловичу: в разговорах отца с матерью, в письмах сестры, в беседах с землевладельцами — всегда он слышал одни и те же жалобы на дождь или засуху.

Ему вспоминаются немецкие аккуратно разграфленные, похожие друг на друга фермы с вымощенными двориками, кирпичными домиками, которые он видел, проезжая по Германии. Немец умен, у немца всякие фосфаты, орошение, машины. Да, еще долго надо будет России поднимать урожайность земли, чтобы сравняться с той же Германией. Но он, Достоевский, верит, что русскому землепашцу, что его необъятной Родине суждено сказать европейскому миру свое великое слово.

Проглянувшее сквозь серую пелену солнце осветило равнину, овраг, деревушку...

Сестра обрадовалась приезду Федора Михайловича. Но после родственных приветствий за чаем уже начались жалобы: и хозяйство недоходное, и неурожай, и долги, и болезни...

Вера Михайловна расспрашивала и об Анне Григорьевне, о литературных заработках.

— Ты теперь знаменитость, Федя, ты теперь на нас бедных-захудалых и смотреть, поди, не захочешь, с министрами и князьями — на приятельскую ногу. Спасибо Анне Григорьевне милой, что она братца к сестре отпустила родное гнездо проводить. Только уж не знаю я, чем желанного гостя и потчевать. Поди, Анна Григорьевна избаловала тебя вкусным столом, а у нас кухня деревенская, простая, — ты уж, Феденька, не обес-судь...

В окна убогой зальцы заглянуло солнце, и серая скатерть с нарядным узором и красной каймой показала Федору Михайловичу знакомой с детства — вот бы перенестись в те далекие годы хоть на несколько часов! Зачем нудные сестрицы слова? Для чего она их говорит? Неужели эта пожилая, полнеющая женщина — та милая Верочка, дорогая сестрица?

Вера Михайловна заводит речь о ремонте, который надо делать. А он улыбается воспоминаниям...

За окном — низкая равнина, скудные поля, бедная деревенька — селцо Даровое.

Родина.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Федор Михайлович радовался успеху «Дневника писателя». Публика прислушивалась к его мнению, что делало «Дневник» событием общественным. И отложил он «Дневник» временно, только работая над «Карамазовыми». Но выпускать «Дневник» было трудно: здоровье расшатывалось, и времени не хватало. Кроме работы над своим крупным произведением, надо было отвечать на письма, которые шли непрерывным потоком. Не отвечать было нельзя, постыдно не отвечать: человек душу свою раскрывает, совета ждет, и невозможно не откликнуться.

И писал, и отвечал. Иногда приходили письма ругательные, хотя таких было немного. Писали эти письма не анонимы, а люди с фамилиями и адресом, писали о том, что он, писатель, уважаемый и любимый читателями, проповедует вредные, отсталые мысли и не видит всю подлость самодержавия и властей, корыстность

высшего духовенства, забвение идеалов истинного христианства, не видит, что в крестьянстве происходит раскол и что его мечта о народе-богоносце — детская мечта для успокоения совести; нет, пусть он посмотрит пристально на деревню — там кулаки, там пауперизм, там стонет мужик, и нечего все сваливать на нигилистов. Такие письма тревожили Федора Михайловича, вызывали у него бессонницу, а иной раз доводили и до припадков.

Были и радостные переживания, связанные с «Дневником»... В окружном суде разбиралось дело крестьянки Корниловой, молодой женщины, еще несовершеннолетней, у которой муж был солидный и верующий рабочий человек, вдовец. И эта молодая женщина совершила преступление: взяла и выбросила в окно с третьего этажа падчерицу. К счастью, ребенок остался невредим. Мачеха сама сразу же пошла в полицию и заявила о своем проступке. Ее осудили. Но Федор Михайлович не согласился с решением суда, добился свидания в тюрьме с Корниловой, вник в суть дела и многое уразумел сердцем. Он выяснил, что Корнилова никогда не преследовала, никогда не обижала девочку, а все произошло «сама не знает, как», потому что с мужем в тот день сильно поссорилась. Суд не обратил тогда внимания на то, что Корнилова находилась в положении до суда. Медицинской экспертизы не было проведено. А муж о жене на суде говорил хорошо, сердечно, оправдывал жену. По настоянию Достоевского была назначена экспертиза, и врачи, в том числе знаменитый психиатр Дюков, признали, что все произошло в связи с «аффектом беременности». Пересмотр дела в суде привел к освобождению подсудимой. Потом муж и жена приходили благодарить писателя.

А посещение колонии малолетних преступников... Он его совершил с умнейшим юристом и душевнейшим человеком (а как можно без души людей судить?) Анатолием Федоровичем Кони. Сколько узнал он о том, какие результаты чудесные можно получить, ежели по-человечески к молодому организму относиться. По-человечески!

Да и не вспомнишь всего, что он там опубликовал, о чем говорил с читателями. И рассказ «Кроткая» опубликовал, и «Сон смешного человека», и о «мужике Марее» (о детстве своем в Даровом), писал и о по-

койном Некрасове, и о незабываемом свидании с Виссарионом Григорьевичем Белинским. Вот закончит «Братьев Карамазовых» — и с новыми силами за «Дневник».

А может, не то он делает? Но ведь он за Человека, за его Достоинство, за Россию выступает... Он в этом убежден. Убежден.

Ведь ежели этому не верить, тогда для чего «Дневник»? Для чего?

НАДО ЖИТЬ

Аня привыкла к Старой Руссе, да и Федор Михайлович полюбил этот тихий городок, так что, когда в 1875 году не нашлось подходящей квартиры в Петербурге, они переехали на осень и зиму с дачи Гриббе* (впоследствии она послужила для описания усадьбы старика Федора Карамазова) в большой вместительный дом адмирала Леонтьева. Там Достоевский продолжал работать над «Подростком».

В леонтьевском доме родился последний ребенок Достоевских — Алексей. Когда мальчик немного подрос, то неимоверно привязался к отцу. Стоило только няньке куда-нибудь выйти, Алеша со всех ног бежал в отцовский кабинет.

Федор Михайлович не терпел, когда дети мешали ему читать или отдыхать, но для Алеши он делал исключение и встречал его с улыбкой, а тот, забравшись к отцу на колени, требовал:

— Папа,— зизи (то есть часы).

Для детей нужно было свежее молоко, и Анна Григорьевна брала у кого-нибудь на сезон корову, уплачивая за лето пятьдесят рублей.

В Старой Руссе лечился профессор Петербургского университета Вагнер. Однажды он рассказал Анне Григорьевне, как его удивил Федор Михайлович:

«Встретился неприветливый и всех проходящих спрашивал, не видели ли они бурой коровы.

— Для чего вам понадобилась, Федор Михайлович, бурая корова?— спросил я, решив, что Федор Михай-

* В 1877 году Достоевские купили двухэтажную дачу Гриббе, которая им особенно нравилась своим местоположением на правом берегу р. Перерытицы. Сейчас в доме писателя — музей.

лович по масти первой встретившейся коровы желает узнать о завтрашней погоде, и подивившись такому суеверию.

— Как на что?— рассердился Достоевский.— Я ищу нашу корову. Все пришли, а нашей нет».

— Удивительно это, Анна Григорьевна: великий художник слова, ум и фантазия которого заняты идеями высшего порядка, бродит по улицам, разыскивая какую-то корову...— завершил свой рассказ Вагнер.

Жизнь в Старой Руссе текла равномерно. Как всегда, Достоевский работал по ночам и просыпался в одиннадцать. Выходил, пил кофе, играл с детьми. И играя с ними, сам становился как ребенок.

Днем Федор Михайлович диктовал Ане по рукописи роман. Затем завтракали, отдыхали. В половине четвертого Достоевский шел в лавку бакалейных торговцев Плотниковых и покупал доставленные из Петербурга закуски. Возвратившись, обедал, снова играл с детьми. Лишь к десяти вечера в квартире наступала тишина, и Достоевский, посидев в комнате жены, уходил в кабинет работать.

Мирное течение жизни было прервано неожиданной смертью Алеши: мальчик, которому не исполнилось и трех лет, скончался от припадка падучей. Федор Михайлович переживал утрату сына трагически: больной, почти старик, он понимал, что больше детей у него не будет. Аня утешала мужа как могла.

Семейное горе усугублялось тем, что критики Достоевского преуменьшали значение его произведений, не понимая их. Зато читатели с каждым годом все сердечнее относились к нему. У простых людей черпал он душевные силы, убеждая себя: «Надо жить, надо работать!»

ДЕВОЧКА НА ТУМБЕ

Достоевский шел по тем переулкам у Апраксина рынка и Вознесенского Разгуляя, где ютится городская беднота и где процветают преступление и разврат.

Стояла морозящая поздняя осень. Достоевский поднял воротник пальто. Как у любимого поэта «Поздняя осень, грачи улетели...» Давно улетели поближе к теплу, к солнцу.

Фонари еле-еле мерцали, слабо освещая вывески питейных и злачных мест. Там шла своя жизнь. А на улице было пусто и холодно.

Неожиданно внимание Достоевского привлекло детское всхлипывание — не просьба о пяточке, не жалоба, а тихое, робкое всхлипывание.

Внимательно приглядевшись, он с трудом различил на уличной тумбе девочку лет восьми.

Худенькое, до чего же худенькое личико... И большие черные глаза. Волосы прикрыты рваной косынкой. На ногах — старые валенки. Кофтенка тоже старая, неумело заплатанная. А в разрез у ворота выглядывала мордочка рыжего котенка.

— Ты что плачешь, девочка? Где твой дом? — участливо спросил Федор Михайлович. — Как тебя зовут?

— Неподалеку в подвале живу. А зовут Машкой, — отозвалась девочка и замолчала, крепче запахнув руками грязную кофту с котенком.

Достоевский решил, что девочка плачет оттого, что ей никто не подал милостыню и, вынув кошелек, достал оттуда блестящий серебряный рубль.

— Царь? — вымолвила девочка, разглядывая на нем Александра Второго с бакенбардами. — Видать, сердитый. — Слезы у нее высохли. — Это вы мне даете? А для чё? Может, щипать зачнете? Мой отчим все щиплет меня за ноги больно, а мамка молчать велит... А сегодня отчим принес штоф и холодец и стал выламывать мне руки. Насилу выскочила, вот и сижу здесь с Пузырьком — он хороший, привязчивый, я его подкармливаю.

— Деньги я тебе просто даю, чтобы ты купила себе чего-нибудь поесть, — пояснил Достоевский. — А хочешь — я тебя в приют отвезу?

— Не надо. Там плохо, на горюх ставят...

— А у матери разве лучше? — допытывался Достоевский.

— Лучше, — убежденно сказала девочка. — Мать когда и приласкает, и погладит, и пожалеет, да и отчим скоро сдохнет. Лекарь из госпиталя говорил — чухотка через неделю сожрет.

Она взяла рубль в рот. Положила за щеку и замолчала. И что ни спрашивал ее Федор Михайлович, не отвечала и даже отвернулась в сторону.

Достоевский отошел.

Дети! Бедные дети — обьедки городов. Сколько он повидал таких, обиженных судьбой, и у нас, и за границей.

Дети! Нищие дети!..

*

* *

Месяца через три, проходя по тому же переулку, Достоевский увидел уличную тумбу и вспомнил, что именно здесь он встретил девочку с котенком. Судьба этой девочки его тогда чрезвычайно заинтересовала, чрезвычайно! Что с ней теперь? Надо непременно зайти в квартал и узнать про нее у полицейского чиновника, ведущего учет жителей.

В квартале было накурено. На полу коридора валялись всякие бумажки, окурки. Здесь же расположились какие-то господа в засаленных сюртуках и замасленных картузах и накрашенные, в ярких шляпках молодые женщины.

Достоевский дождался своей очереди в кабинет квартального.

— Вам чего? — грубо спросил тот.

— Видите ли, мне необходимо навести справку об одной девочке, бедной девочке, нуждающейся. Ее надо вырвать из клоаки, — горячо заговорил Достоевский.

— Чего? Какие еще клоаки?.. В своем ли вы уме, милостивый государь? Не знаю вашего чина...

— Я отставной армейский офицер, но давно уже занимаюсь литературством, пишу и книги, и статьи.

— Ваша фамилия?

— Достоевский Федор Михайлович.

Квартальный привстал со своего стула. Он был наслышан о том, что Достоевского принимают в высшем свете, что об его книгах спорят генералы, да и сам как человек любознательный прочел «Униженные и оскорбленные».

— Рад-с познакомиться с вами, Федор Михайлович! Сию-с минуту наведем справки-с, — тон его сразу изменился.

Он позвонил в колокольчик и вызвал молодого услужливого чиновника в новеньком сюртуке и с модным в синюю полоску галстуком.

— Вот-с господин Достоевский, писатель, интересуется одной девочкой — где она проживает. Удовлетворите, Михаил Петрович, их любопытство.

Михаил Петрович, очевидно, знакомый с произведениями писателя, расплылся в улыбке.

— Ну как же-с, как же-с, Достоевский, кто их не знает! Прошу ко мне.

В маленькой комнате, скорее чуланчике, было все чисто — и стол, и чернильница, начищенная до блеска, и на полу ни пылинки. В шкафу — казенные книги, отчеты, штампы.

Искали по ним часа два, Достоевский удивился вежливости и терпению чиновника.

— А теперь в этой книжке посмотрим, — произносил он, раскрывая очередную пухлую книгу.

И нашел, и что удивило писателя, удивило до изумления — Мария Чудина, девяти лет от роду, была прописана сиротой на квартире чиновника Иваницкого. Уж не того ли самого, которого несколько лет тому назад он, Достоевский, угощал вечером в ресторанчике?

— Чудеса, — сказал вслух. — Фантазмагория! А где ее мать и отчим?

— Сей секунд... — И полицейский, прочитав запись, сообщил: — Отчим умер от чахотки, а мать Екатерина Чудина тридцати двух лет скончалась от тифозной горячки. Девочку взял по взаимному согласию чиновник Иваницкий, согласно записи в Мещанской управе.

Горячо поблагодарив Михаила Петровича, Достоевский вынул бумажник, но чиновник запротестовал.

— С другого я бы, конечно, за услугу взял пятишницу, но с вас, Федор Михайлович, поверьте совести, не могу. А вот руку пожму с удовольствием.

И они обменялись крепким рукопожатием.

В коридоре городской, прижав к грязной стене какого-то пьяницу, бил его наотмашь по лицу. Пьяница только мотал головой и бубнил:

— Не бей, сукин сын, по кумполу. По кумполу не бей!

А полицейский, нанося удары, поучал:

— А ты чего, стервец, жену за косу по панели тащил?

*

* * *

Иваницкий снимал большую комнату в квартире унтер-офицерской вдовы-старушки Аграфены Дмитриевны. Квартира была невелика — всего две комнаты, но чис-

тенькая, с цветными деревенскими половиками, с диваном, правда, старинным клеенчатым, но застеленным серым коленкоровым покрывалом. В комнате жильца стояли также письменный стол и кровать. Занавески на окнах были кружевные, удивительного узора с горделивыми петухами. Аграфена Дмитриевна зарабатывала плетением кружев, у нее были клиентки из среднего чиновничьего круга.

Скромный и тихий Иваницкий и услужливая и добрая сиротка Маша прились хозяйке по душе. Иваницкий платил за комнату столько, сколько стоила вся квартира, и к тому же вместе с девочкой питался у Аграфены Дмитриевны за пятнадцать рублей в месяц. Был в квартире и еще один жилец, спавший на подстилке у печки в кухне — рыжий кот Пузырек.

Маша звала Иваницкого папой, он добро и действительно по-отечески относился к девочке. Она училась в четырехклассном женском пансионе, училась хорошо, и Иваницкий помогал ей готовить уроки.

А взял он ее благодаря стечению обстоятельств. Когда умерла мать Маши, за осиротевшей девочкой пришли из приюта две злые воспитательницы и не разрешили ей взять с собой Пузырька. И так грубо вырвали из рук девочки котенка и шмякнули его об пол, что он жалобно замыкал, а Маша разрыдалась.

Иваницкий в это время поднимался по лестнице к себе домой. Узнав, что случилось, он возмутился.

— Бессердечные вы, а еще воспитательницы, — и подавшись чувству сострадания, заверил Машу: — Я тебя удочерю и кота возьму!

Маша прижалась к нему, схватила его руку и поцеловала. Она и раньше знала Иваницкого, жившего в том же доме. Он даже угощал Машу леденцами и подкармливал Пузырька. А так как репутация в квартале у Иваницкого была хорошая, то после казенных хлопот в Мещанской управе он добился того, что Маша осталась у него.

Иваницкий справил Маше приличное пальтишко, ученическую форму и два передника: черный и белый выходной с кружевами. Белье купила хозяйка. И зажили они дружно и хорошо. Ночевала девочка в комнате хозяйки, на сундуке, а занималась у Иваницкого.

У Иваницкого был каллиграфический почерк, такой изящный и четкий, что ему в департаменте за особую

плату давали переписывать важные бумаги на дом — подспорье для чиновника немаловажное.

Федор Михайлович так обрадовался всему этому, что обнял Иваницкого.

— Восхищен вами, батенька, до невозможности. Чудесный вы человек!

— Ну что вы, Федор Михайлович! Всем этим ведь я вам обязан. Это после того давнего вечера в ресторанчике я изменился. Трудно вам рассказать, как это произошло, очевидно, исподволь. Понял я тогда, что человек должен жить по-человечески, приносить хотя бы маленькую пользу людям. Ну, променяла меня девушка на богатого лавочника — не спиваться же из-за этого. Ограничил я себя: полштофа только с получки. И курить стал меньше, а табак стал сам набивать в гильзы.

— Прекрасно, прекрасно, — одобрительно кивал Федор Михайлович. — Я тоже так делаю.

— А тут вот случай с Машей помог. Дай, думаю, сделаю доброе дело... Вы не подумайте, что я хочу похвастать. Нет, упаси боже! В человеке, даже таком, каким я был, всегда есть что-то светлое. Это теперь для меня понятно, ясно. А тогда я понял, что всегда надо верить в лучшее.

— Правильно, — поддержал Федор Михайлович, — верить надо, верить всем сердцем и душою.

— Подумал, не пропадать же ей в прислугах, или няньках, или того хуже... Ведь не по своей же воле ваша Соня Мармеладова стала с желтым билетом, не по своей... Решил: вот удочерю Машу, воспитаю ее, — пусть хоть одну на правильный путь поставлю, хоть одну! — продолжал Иваницкий свою исповедь. — А затем полюбил ее, как родную. Запоздает она из школы или с прогулки — сам не свой, бегу на улицу, дожидаюсь... И жить легче стало, Федор Михайлович, стало легче. — Он улыбнулся и погладил Пузырька, забравшегося к нему на колени.

Федор Михайлович шел домой и улыбался. «Вот ведь какие камуфлеты бывают! — и остановился посередине тротуара. — Ах, какой я, право, не купил ничего милой девочке».

Зашел в лавочку. Выбрал красивую коробку конфет, перевязанную широкой голубой лентой, и взял еще фунт колбасы для Пузырька. А в другом магазине выбрал пачку дорогого табака и гильзы.

Иваницкий был уже на службе, и Достоевский передал подарки хозяйке. Весь вечер Федор Михайлович находился в хорошем настроении, он даже напевал какой-то веселый мотив без слов.

У ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ

Константин* нервно расхаживал по своему кабинету. В маленькой гостиной уже собрались приглашенные. Тут были государственный контролер Филиппов, Победоносцев, княгиня Белосельская-Белозерская, сенатор Васильчиков, графиня Шереметьева и еще несколько молодых сиятельных офицеров.

Мать Константина страдала мигренью и отказалась выйти к гостям. Гостей занимал молодой Шереметьев. Его громкий сочный баритон был слышен и в кабинете князя. Константин, высокий, тонкий, в офицерском мундире, подергивал усики и удивлялся, что Федор Достоевский, всегда такой пунктуальный, опаздывал. Наконец внизу раздался звонок. Ливрейный лакей доложил:

— Господин Достоевский.

Константин вышел в прихожую, где швейцар уже снимал пальто с Федора Михайловича.

— Федор Михайлович!— Хозяин взволнованно пожал руку писателю.— Как я рад, мы вас заждались, уже стали думать, что вы не удостоите нас своим посещением. Заболели или чем-то были заняты?

Федор Михайлович отдышался, присев на кресло в прихожей.

— Извините, ваше высочество, пришлось немного посидеть на скамеечке в Летнем саду— кашель замучил.

— Курите вы много, Федор Михайлович.
Достоевский улыбнулся.

— Петр Первый говаривал, что табак отгоняет мокроту. Так что еще раз примите мои глубочайшие извинения.

— А чем вы нас сегодня побалуете?

* Константин—племянник Александра II, поэт «К.Р.»— автор трагедии «Царь Иудейский», многих стихов, песни «Умер бедняга в больнице военной...» Впоследствии — президент Академии наук.

— Я с собой захватил «Преступление и наказание». Очень люблю разговор в трактире Родиона Раскольникова с чиновником Мармеладовым. Вы помните его?

— Ну как же, как же,— радостно воскликнул великий князь.— Это и моя любимая глава — трагическая, обнаженная до нэк плюс ультра! В ней вы — великий художник-психолог.

— Ну что вы, что вы,— сконфузился Федор Михайлович, даже взмахнул руками.— Пожалуйста, идемте.

Князь взял под руку Федора Михайловича, и они поднялись на второй этаж. Вошли в маленькую гостиную.

Федор Михайлович был встречен с преувеличенным почтением, и это ему не понравилось. Подумалось: «Вроде снисходят... Как же, они аристократы, сиятельные князья и княгини, а я всего-навсего отставной подпоручик!»

Но это была лишь мнительность Федора Михайловича. Гости, действительно, ценили Достоевского и считали его чуть ли не пророком. Длинное лицо Победоносцева, всегда желчное, осветилось улыбкой, а княгиня Белосельская-Белозерская в экзальтации даже двумя руками пожала руку писателю.

На круглом столе был сервирован чай, легкое вино, фрукты, бисквиты.

— Где вам будет удобнее сесть?— спросил хозяин,

— Если разрешите, ваше высочество, я сяду здесь, возле этого канделябра.

После краткого чаепития все внимание было обращено на Достоевского в ожидании его чтения.

Он открыл книгу и начал...

ВОЛОГОДСКИЙ УЧЕНИК ДОСТОЕВСКОГО

По Лиговке — улице, населенной мелким чиновничьим и мастеровым людом, шел болезненного вида юноша в очках, начинающий литератор из Вологды Александр Васильевич Круглов. Одет он был неважно, даже бедно, а погода стояла ненастная, с ветром, и вся улица с грязной мостовой, со старыми, облупленными и потерявшими первоначальный цвет домами казалась мрачной и почти нереальной, словно виделась во сне.

Круглов шел медленно, оглядываясь по сторонам

в поисках очень нужного, чрезвычайно важного для него дома, в котором жил Федор Михайлович Достоевский. От одного этого имени у юноши кружилась голова. Ну как он войдет к нему, создателю «Записок из Мертвого дома», «Преступления и наказания», «Идиота», как он войдет в кабинет Достоевского и спросит о своем романе?

О, этот роман! Тщательно перебеленный и вшитый в большую тетрадь, он был отправлен Достоевскому по почте. В этом романе двадцатилетний недоучившийся гимназист, прослуживший два месяца в Казенной палате, решал вопросы семейного счастья, супружеской верности, религии и морали. Роман! А что у него, Александра Круглова, сына смотрителя народных училищ, что у него, собственно говоря, есть за душой? Три-четыре очерка да стихи, одобренные прекрасными и отзывчивыми, жившими в Вологодской ссылке писателями-публицистами Петром Лавровичем Лавровым и Николаем Васильевичем Шелгуновым...

О чем он писал? О вологодской провинциальной жизни, о бедных кружевницах, обираемых всякими пройдохами и торговцами. Привез он с собой в Петербург и написанный год назад исторический очерк о великом поморе Ломоносове, о том, как трудно, невыносимо трудно было бороться этому великану со всякого рода академическими бездарностями.

Но роман? Боже мой, как он осмелился послать эту рукопись? И кому? Правда, его предостерегали друзья, но совсем с другой стороны: «Как тебе не стыдно связываться с Достоевским, автором «Бесов», редактором монархического еженедельника князя Мещерского «Гражданин»? Не проданся ли Достоевский за чечевичную похлебку? Что общего между бывшим петрашевцем, политическим каторжником и сиятельным князем? И зачем Круглову, поощренному самим Лавровым, слушаться советов редактора «Гражданина»? Так ему говорили. А он верил Достоевскому. И пусть по не известным ему, Круглову, причинам, может, из-за материальных затруднений (Достоевский был плохо обеспечен), он редактирует этот журнал, который и читают лишь потому, что там открылся новый раздел — «Дневник писателя».

Как отличался этот «Дневник» от всего пошлого тона журнала. Сколько в нем таланта, сколько поднято

наболевших тем! Можно иногда не соглашаться с высказанным Достоевским мнением, но оно не оставляет тебя равнодушным.

Мимо прошли трое подгулявших бородачей мастеровых. Они занимали весь тротуар и весело переговаривались.

— Парень-то из студентов, в очках,— определил один из них, обратив внимание на Круглова.

А другой сожалеюще добавил:

— Видать по всему — чахоточный.

«Да, конечно, похож на чахоточного,— это они правильно заметили,— мысленно согласился с ними Круглов. Но все это ерунда,— главное в том, что скажет Федор Михайлович...»

Вот грязный Гусев переулок. Здесь, на углу Лиговки, дом, в котором проживает Достоевский. Дом похож на те дома, где ютятся герои писателя,— такой же обреченный и мрачный.

Круглов поднимается по парадной лестнице и на третьем этаже дергает ручку звонка. Колокольчик звенит тихо, не так порывисто, как у бедняги Раскольникова.

Дверь открывает девушка.

— Дома Федор Михайлович?

— Они дома, а барыня ушедши. Проходите.

Обстановка квартиры показалась даже непритязательному Круглову скромной. Комнаты небольшие. Мебель простая. Из кабинета слышался разговор:

— Вы уж постарайтесь, Михаил Александрович, чтобы задержки не получилось. Номер должен выйти в срок.

— Не беспокойтесь, Федор Михайлович, все будет в аккурат.

В дверях показался прилично одетый господин, держа под мышкой конторский портфель.

— Вы к редактору?— спросил.— Как ваша фамилия? Сейчас скажу Федору Михайловичу.

Послышался голос Достоевского:

— Просите, пусть войдет.

Кабинет был прост. Не верилось даже, что писатель здесь проводит почти все свое время.

Крытый красноватым репсом диван... На нем Достоевский и спал. На письменном столе — свечи, старая чернильница, жестянка с табаком и гильзами, несколько

газет, книг. У письменного стола — простое деревянное кресло, рядом — стул для посетителей. В стороне — стол поменьше. На нем — рукописи, папки. В шкафчике — книги. На стенах в рамках — фотографии близких и самого хозяина.

Федор Михайлович встретил Круглова в дверях. Из-под сдвинутых бровей на юношу устремились серые глаза, они смотрели в лицо посетителя пристально и испытующе.

— Да, да, Круглов Александр Васильевич из Вологды. Помню. Читал вашу рукопись. — Он порылся в папках и вынул толстую тетрадь. — Ваша?

— Моя, Федор Михайлович.

Федор Михайлович тонкими пальцами погладил русую бородку.

— Садитесь, пожалуйста. Да, да, прочел ваш роман. — Он ударил тетрадкой о стол. — Прочел, — и заговорил сердито, торопливо: — Вы, сударь, еще слишком молоды, слишком мало жили, чтобы дерзать, именно дерзать рассуждать о таком большом и сложнейшем предмете. — Достоевский нервно прошелся по кабинету. — Широко, сударь, шагаете, широко, а сил и уменья нет.

Круглов сидел на краешке стула, и ему казалось, что писатель сейчас же, сию минуту, с позором выгонит его.

А Достоевский продолжал:

— Нужна известная глубина. Откуда она у вас может быть? И какие положения берете! Самые драматические! Психология матери, потерявшей дочь... Переживания мужа, которому изменила жена, и при каких обстоятельствах... Станные обстоятельства, невероятные обстоятельства. А религия? Что можете вы понимать в этом в свои двадцать лет, что? И зачем берете аристократический быт? Знаете ли вы его? Аристократов видели настоящих?

— Нет, — прошептал Круглов.

— Ну вот, а пишете! Лучше расскажите о себе.

Круглов начал рассказывать сбивчиво, неясно.

— Город у вас хороший? — вдруг спросил Достоевский.

— Кому как, Федор Михайлович. Мне и родной Устюг и Вологда нравятся, но жизнь в них — жизнь скучная, а сами города: храмы старинные, деревянные

особняки. И зелени у нас много, воздух не петербургский...

— Да, это вроде Старой Руссы... Говорите, были репетитором, чиновником? Но этого мало. Конечно, нельзя все перепробовать на себе, но нужна опытность литературная и умение предугадывать. Нужно иметь силу особую — писательскую, ее надо развивать постоянным чтением, думой, работой, да-с! — Достоевский подошел к Круглову. В голосе его появились добрые проникновенные нотки, и глаза смотрели теперь ободряюще. — Не падайте духом, сударь, кислиться глупо, я ведь ради вашей пользы говорил. У вас есть дарование, и художник из вас выйдет, но дарование надо шлифовать, читать много, учиться, наблюдать жизнь, не боясь грязи и вони. Писатель — это врач, а не кисейная барышня. Не сочинять надо, а жизнь уметь изобрать, — слышите?

Еще много доброго и нужного сказал писатель юноше. Провожая Круглова, Федор Михайлович заботливо спросил:

— Не сердитесь?

— Нет, — искренне ответил Александр. — Благодарен.

— А роман бросьте, пусть валяется. Вырастете, перечитаете — и сами посмеетесь. Умру я, а вы вспомните и скажете: прав был Достоевский. Главное — дерзайте, пишите. Пишите, толк из вас получится, — верьте мне, не бросайте пера.

Он крепко пожал руку Круглову и уже в пролет лестницы крикнул:

— Обязательно пишите!

Окрыленный, вышел Круглов из подъезда. Шел, не замечая улиц, шел, как пьяный, а в ушах звучали слова Достоевского: «Пишите, пишите... У вас есть дарование, вы можете писать».

«Могу, могу, Федор Михайлович, — говорил про себя Круглов, — и буду».

Спускались сумерки. Зажглись фонари. В сыром петербургском тумане двигались пешеходы. Из дверей трактира «Распивочно и на вынос» слышались разухабистые звуки гармошки и пьяный голос залихватски выводил:

Погиб я, мальчишка,
Погиб навсегда.

«А я не погиб,— думал радостно Круглов,— не погиб».

На Невском — он и не заметил, как вышел на сияющий огнями проспект,— навстречу ему попадались уже не мастеровые, а изящные дамы в шляпах со спущенными вуалями, офицеры, бренчащие саблями и шпорами. У ресторанов стояли богатые кареты, и кучера, как истуканы, восседали на козлах. А Александр Круглов шел по Невскому и ничего не слышал, кроме слов Достоевского.

*
* *
*

Судьба литератора бросала Александра Васильевича по разным дорогам. Служил он и библиотекарем в большой петербургской библиотеке, сотрудничал и в газетах и журналах. Бывал в различных местах у себя на родине. Особенно полюбились ему обширные и мало обжитые уезды Зырянского края, входившего в Вологодскую губернию. Круглов часто повторял чудесное изречение коми народа: «Человек в одиночестве — полчеловека».

И всегда, где бы ни был Александр Васильевич, он помнил о напущении Достоевского. Во всем, что писал Круглов, чувствовался глубокий след, оставленный в его сознании великим писателем.

Вот он рассказывает о жилище коми-землепашца, «лесовика».

«Керка» (изба) Пэдера отличалась массивностью; видно, что край лесной; все пристройки сосновые; из ели даже сараи строились редко».

Круглова здесь гостеприимно угощали и вкусными ячменными лепешками, намазанными маслом, и рыбным пирогом с запеченной в него целой рыбой без внутренностей, но в чешуе. Подавали и «десерт»: брюкву и пареную репу, облитую маслом и сметаной. Казалось бы, все хорошо: есть крепкая изба, пироги, овощи, сметана...

Но вот Александр Васильевич похвалил хлеб. И землепашец ответил: «Слава создателю, без «качи» обойдется ныне».

И автор говорит горькие слова:

«Ох, эта кача! Кача — хлеб из пихтовой и осиновой коры с небольшим добавлением муки,— кача-хлеб,

кача-каша. Я раз только немного съел качи и думал, что схвачу воспаление в кишках.— И с волнением заканчивает: А ее едят, едят многие! И мрут же!»

Да, вот оно страшное: «И мрут же!»

И пейзаж Зырянского края окрашивается в тоскливые тона: хоть здесь и природа богатая, и зверя много, а едят качу. Здесь за зверя скупщики дают гроши, а в город коми-зырянину добраться трудно: край огромен.

«...Мы ехали уже третий день, а осень, несносная, неприветливая, царила вокруг.

Третий раз спустились на землю холодные, пасмурные сумерки, даже на прогалинах все предметы, перемешиваясь между собой, сливались во что-то безразлично тусклое. Мелкий дождь, называемый по-зырянски «чичер», так и сеял, прохватывая сыростью тело и наводя тоску на душу».

Авторская интонация здесь очень близка к Достоевскому.

В другом сборнике Круглова, «В северных лесах», помещена повесть о неразделенной любви молодых людей, по ситуации весьма схожая с «Униженными и оскорбленными».

*

* * *

Под конец жизни А. В. Круглов издавал и редактировал в Москве небольшой иллюстрированный журнал «Светоч» со славянофильским уклоном. За свою сравнительно недолгую жизнь (Круглов скончался в 1915 году в возрасте шестидесяти двух лет) Александр Васильевич немало написал произведений и для взрослых, и для детей*. В воспоминаниях, опубликованных в «Историческом вестнике», Круглов рассказал о своих знакомствах со многими писателями и журналистами, в том числе с Н. В. Шелгуновым, П. Л. Лавровым, Н. А. Некрасовым, А. П. Чеховым и другими. Часто встречался Александр Васильевич и со своим земляком В. А. Гиляровским.

* Еще при жизни А. В. Круглова о нем сообщалось в энциклопедии Брокгауза и Эфрона, а в издании «Галерея русских писателей и художников (СПб, 1901) рядом с портретами А. П. Чехова, А. М. Горького, В. М. Гаршина и других писателей есть и портрет А. В. Круглова. Его книги «Из золотого детства», «Иван Иванович и компания» вышли отдельными изданиями в Париже.

А Достоевского довелось увидеть еще лишь дважды.

Как-то Александр Васильевич шел со знакомым студентом по Невскому. В это время Достоевский проезжал на извозчике, и студент, почтительно сняв картуз, низко поклонился.

— Вы знакомы с Федором Михайловичем?— спросил Круглов.

Тот ответил серьезно:

— Нет, лично я с ним не знаком. Но когда бываю в Москве, то перед памятником Пушкину всегда обнажаю голову. И Достоевский для меня — великий писатель, слава России. Вот этой славе я и поклонился.

Круглов был тронут таким ответом.

— Экий вы славный,— похвалил он студента.

Порадовало Александра Васильевича и письмо от знакомой курсистки из Вологды. Она делилась с земляком мыслями о литературе: «Больше всех почитаю Достоевского, он для меня последние годы не только автор, а и учитель».

Последняя встреча Круглова с Достоевским произошла незадолго до смерти Федора Михайловича. В тысяча восемьсот восьмидесятом году Круглов сотрудничал в газете «Россия», которую издавал уральский магнат Демидов. В ней Александр Васильевич заведовал «журнальным обозрением», подписываясь псевдонимом «Русский». В редакции он и встретил Федора Михайловича, который выходил из кабинета редактора.

— Вы не узнаете меня, Федор Михайлович?

Достоевский остановился.

— Я вас видел, видел где-то,— пристально всматривался он в Круглова.

— Несколько лет назад я послал вам из Вологды рукопись романа. Моя фамилия — Круглов.

Достоевский оживился.

— А-а, голубчик, очень рад, читал вашего «Бездипломного», хороший рассказ, хороший. А где тот роман?

— Уничтожил.

Федор Михайлович одобрительно кивнул.

— Ну вот, пишите рассказы, а романы потом, если понадобится, если понадобится... А что здесь делаете?

— Пишу журнальные обзоры.

Достоевский положил ему руку на плечо.

— Только не увлекайтесь, голубчик, не будьте разносителем, не топчите других, любите тех, кто честно работает.

Вид у Федора Михайловича был усталый, он закашлялся и долго не мог успокоиться.

Круглов тяжело пережил смерть Достоевского. Он заболел. Ему трудно стало писать. Памятью о Достоевском явилась составленная им книга «Достоевский для детей школьного возраста». Александр Васильевич часто посещал Старую Руссу, о которой написал очерк и сделал описание дома Достоевского.

«БРАТЯ КАРАМАЗОВЫ»

За окном — вечерний Кузнечный переулок. В кабинете горят свечи. Федор Михайлович сидит за письменным столом и думает.

Он думает о семье, жене, творчестве: сколько еще надо сделать, а здоровья нет, годы тянут к шестидесяти, и время не остановить.

Хорошо, что рядом с ним Аня. Как трудно было бы без нее. Она чудесная женщина. Дела материальные поправила, а ведь было совсем плохо — ой, до чего было плохо, а теперь, слава богу, живем. Вспомнишь, сколько она, молодая, — ей только за двадцать было, — пережила: заклады и перезаклады вещей, смерть первой дочери, мужа угрожали запрягать в долговую тюрьму... А все перенесла. И душевного богатства своего не растратила. Она и литературу и искусство любит. Как она восхищалась галереями Флоренции! И не одну, а много записных книжек заполнила своими стенографическими знаками в годы скитаний по заграницам, стараясь запечатлеть особенность тех или иных достопримечательностей.

Аня всегда с ним — неразлучная, верная спутница. Вот он сидит усталый у себя в кабинете. За окном ночь, на столе листки... Надо писать, а он думает о ней, о своей преданной жене.

Конечно, бережлива она чересчур, но если дать ему волю, так ведь он по миру пустит и себя и детей.

Аня все заботы денежные взяла на себя — значит, у него больше времени остается для своего главного дела. Она стала первой русской женщиной-издательни-

цей его уже напечатанных в журналах произведений. И деньги появились.

Или взять такой случай: Анна Григорьевна как-то намекнула графине Толстой, вдове Алексея Константиновича, о желании мужа иметь большой фотографический снимок с «Сикстинской мадонны». И теперь вот ее божественный лик висит над диваном в раме под стеклом.

Федор Михайлович встает, отодвигает кресло, прохаживается по кабинету...

Да, любит он своего голубчика Анечку. Он ей из Эмса писал: «В мыслях целую тебя поминутно...»

За окном — ночной Кузнечный переулочек. Достоевский ходит по тесному кабинету, курит.

Вспоминается недавнее огромное горе. Любимый младший сын Алеша скончался от припадков падучей болезни. Эта смерть тогда придавила Достоевского. Ох, как придавила! Ведь Алеша умница был, младенец, а умница, — и вот нет его, такого маленького, теплого, родного... Нет Алексея Федоровича Достоевского, ушел из жизни...

Аня утешала:

— Не надо убиваться, Федя. У нас есть двое детей, у тебя работа, ты нужен другим. Жить надо, Федя!

Да, жить надо, тяжело, а надо. И тогда он сказал жене:

— Помер у нас, Аня, Алексей Федорович Достоевский, но остается жить Алеша Карамазов, в котором вижу будущее поколение, поколение нашего мальчика...

Он мечтал по окончании первого романа продолжить его. И в предисловии к «Братьям Карамазовым» писал: «Главное — роман второй. Это деятельность моего героя уже в наше время, именно в наш теперешний, текущий момент».

И опять ночами во сне приходил студент Каракозов, стрелявший в царя. Не судьба ли казненного юноши ждет и Алешу? Да, скорее бы написать первый роман, скорее.

Над «Братьями Карамазовыми» Достоевский работал страстно. К декабрю 1878 года не только составил план романа (план всегда являлся самым трудным), но и написал около десяти авторских листов, напечатанных в январской книжке «Русского вестника» за 1879 год.

«Братья Карамазовы» были завершены Достоевским за три месяца до смерти — в начале ноября 1880 года.

«Ну, вот и кончен роман: работал его три года, печатал два — знаменательная для меня минута», — писал он, отправляя последние главы редактору Любимову в Москву.

Во время диктовок «Карамазовых» Федор Михайлович придавал значение непосредственным впечатлениям жены. Она как-то всегда угадывала то, что будет нравиться читателям.

Лишь одного в романе боялась Анна Григорьевна как женщина верующая и не сомневающаяся в учении православной церкви. Боялась она поразительной силы отрицания божественных установлений, которые ниспровергал Федор Михайлович устами своих героев: казалось, что это он сам, безмерно верующий в Христа и в жизнь вечную, перерождается в Ивана Карамазова.

Она помнила, как муж еще за границей, когда замыслил написать роман из пяти больших повестей «Жизнь великого грешника», говорил ей:

— Знаешь, Аня, я хочу провести грандиозную мысль, мысль, что с юности мучает, — о существовании божием. Есть или нет? Герой мой — то фанатик, то атеист, то верующий, то опять атеист. У меня жажда в бытие божие огромнейшая, но бес отрицания не дает мне покоя.

Стенографируя «Братьев Карамазовых», Анна Григорьевна содрогалась от рассуждений Ивана о божественной гармонии. Какой силой звучал Федин голос, когда он читал про «бунт» Ивана Карамазова, рассказывавшего Алеше о замученном ребенке.

Анна Григорьевна понимала, что здесь ставятся краеугольные вопросы о божьем всепрощении, о первоначальном грехе и о том, что по христианскому чувству мать должна простить генерала-мучителя.

А вот милый послушник Алеша Карамазов на вопрос Ивана о том, стоит ли расстрелять убийцу, отвечает: «Расстрелять».

Она посмотрела на мужа. Его лицо как-то судорожно дернулось, но в глазах было торжество.

— Федя! — спросила тихо и робко. — Для чего Иван такой привлекательный? И хотя у тебя — светлый Алеша, а все же в Иване есть такая сила, такая сила....

Она не могла найти нужного выражения и боялась его найти.

— Что же замолчала, голубчик Аня?— улыбнулся Федор Михайлович.— Ты правильно выразишься: он привлекателен — в нем есть и внутренняя сила, и убежденность...— Достоевский помолчал, а затем сказал сердито: — Есть такие господа критики, уверяющие публику, что у меня в романах многие персонажи вопреки разуму действуют. А у меня одна мысль еретическая записана на этот счет: «Если бы все происходило разумно, то ничего бы и не произошло». Вот оно как, милый голубчик Аня!

Иногда Анна Григорьевна плакала, стенографируя роман. Она была матерью и потеряла двух детей, а тут муж читает главы, связанные со смертью мальчика Илюшеньки. И она правой рукой писала, а левой утирала слезы.

Тогда Федор Михайлович переставал диктовать, подходил к жене и целовал в голову.

Очень жалела Анна Григорьевна, что ей не удалось поехать с мужем в Москву на открытие памятника Пушкину в юбилей поэта.

Под свежим впечатлением от своей речи на публичном заседании Общества любителей российской словесности, где выступали Иван Сергеевич Тургенев, он — Достоевский, Иван Аксаков и другие литераторы, Федор Михайлович писал восьмого июня 1880 года жене в Старую Руссу:

«Утром сегодня было чтение моей речи у «Любителей». Зала была набита битком. Нет, Аня, никогда ты не можешь представить себе и вообразить того эффекта, какой произвела она! Что петербургские успехи мои! Ничто, нуль, сравнительно с этим...»

Из газет Анна Григорьевна узнала, что муж не преувеличивал. Его «пушкинская» речь, где он говорил о всемирном единении людей, о необходимости интеллигенции понять народные устои, правду народную, о смирении (смирись, гордый человек), была действительно встречена горячо и явилась событием. Даже Глеб Успенский дал на нее сочувственный журнальный отклик.

Потом, когда уже прочли его речь (в «Московских ведомостях» и «Дневнике писателя» она была воспро-

изведена полностью), посыпались возражения, началась яростная полемика.

Но в юбилейные пушкинские дни Достоевский стал чуть ли не самым популярным из писателей, не менее популярным, чем Тургенев. Федора Михайловича увенчали лавровым венком и городской голова Третьяков благодарил его от имени Москвы.

Той же ночью Достоевский отвез венок на Тверской бульвар, и бережно возложил его к подножию памятника Пушкину.

*
* *
*

Достоевский скончался 28 января (9 февраля) 1881 года. Завершился подвижнический путь великого писателя, для которого не было более святого и высокого слова, чем «Россия» и который был убежден, что «царство мысли и света способно водвориться у нас... еще скорее, может быть, чем где бы то ни было».

Долгую жизнь после смерти мужа Анна Григорьевна прожила его памятью. Она собирала материалы о Федоре Михайловиче, посещала те места, в которых бывала с ним, издавала его биографию, избранные письма, сочинения, составила библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к Достоевскому, писала воспоминания, организовала мемориальную комнату Федора Михайловича в историческом музее, открыла в Старой Руссе школу имени Достоевского. Дочь Достоевских, писательница Любовь Федоровна Достоевская, в книге об отце вспоминала, что, читая «Карамазовых», она легко узнавала топографию города: «Дом старика Карамазова — это наша дача с небольшими изменениями; красивая Грушенька — молодая провинциалка, которую мои родители знали в Старой Руссе (Это Грушенька Меньшова — в замужестве Шер. Находилась в дружеской переписке с Анной Григорьевной). «Дом Грушеньки» сохранился в Старой Руссе. Купец Плотников был излюбленным поставщиком моего отца. Андрей и Тимофей — наши любимые ямщики, возившие нас ежегодно на берег Ильменя, где осенью останавливались пароходы».

Когда здание школы сгорело, вдова писателя пожертвовала тысячу рублей на постройку новой школы. Она существовала до 1941 года, во время войны гитлеровцы разрушили ее. Пострадал и дом писателя, впоследствии восстановленный в прежнем виде. Там разместилась детская музыкальная школа. А в 1969 году в «доме под вязами» был организован на общественных началах небольшой мемориальный музей.

Умерла Анна Григорьевна в июле 1918 года в Ялте. Крым заняли войска немецкого кайзера и белогвардейцы, и она не смогла выехать в Москву к сыну.

Ее желанием было лежать на кладбище рядом с прахом мужа. Анна Григорьевна даже заранее купила себе место для погребения в Александро-Невской лавре.

Но лишь в 1968 году ее внук, ленинградский инженер, ныне уже покойный Андрей Федорович Достоевский исполнил волю своей бабушки: останки Анны Григорьевны были перевезены в Ленинград и захоронены на месте погребения Федора Михайловича.

Чувство уважения и глубокой признательности испытываем мы к этой русской женщине, согревшей последние годы жизни Достоевского, пятнадцать лет являвшейся ему верной опорой и поддержкой на нелегком пути.

И открывая последнюю книгу великого писателя, с удовольствием читаем: «Посвящается Анне Григорьевне Достоевской».



ГОСУДАРЕВ ГНЕВ

Осень в купеческой Вологде была предложливой: глина расплзалась под сапогами и чавкала.

В летнем царском деревянном дворце* в узких окошечках еле мерцал свет. В домашнем храме звонили в малый колокол. Звон колокола казался жалобным и хриплым.

На воде у Известной (известковой) горы стояли баржи, а на самой середине реки на утлой плоскодонке рыбак, накрывшись поверх зипуна рогожей, безнадежно закидывал рванный невод.

Стрельцы в алых кафтанах, с алебардами в руках, дежурившие у государева крыльца, от холодного пронизывающего ветра нахохлились, мечтая о чарке водки и подовых постных пирогох.

Шел дождь.

Работные люди, измызгав в грязи порты, уминая лаптями скользкий настил мостовой, подвозили на тачках к городской крепости известь и песок. Крепость перекошенным четырехугольником опоясывала город.

Стены крепости тянулись более чем на тысячу двести сажен, а тридцать две башни следили за конным и пешим, приближавшимся к крепости. На башнях ходили стрельцы, вооруженные пищалями. Денно и ночью перекликалась башня с башней: «Славен

* Дворец был построен на том месте, где теперь находится здание педагогического института по ул. Маяковского.

Великий Устюг!», «Славен град Вологда!», «Славен град Москва!»

В Гостином дворе, в купеческих лавках и на складах товару всякого — и своего и заморского — не перечесть. Богатая была Вологда. Недаром взял ее государь Иван Васильевич в опричные города и «возлюбил, аки перл драгоценный».

В этот осенний день утопавший в непролазной грязи город был непригляден и хмур. Хмур был и царь всея Руси Иван Васильевич Грозный. В окружении опричников он вышел на крыльцо.

— Мерзость запустения!.. — молвил он.

Грозному было тогда около сорока лет. Осанистый, с выразительными властными глазами, он выглядел старше: лицо изборождено морщинами, а борода уже покрылась сединой. Царь был в темном кафтане, а на голове плотно сидела сафьяновая, отороченная собольим мехом шапка. Рука его опиралась на тяжелый с острым наконечником посох.

Вчера вечером приближенный дьяк Василий Щелкалов* читал Грозному секретные грамоты из Новгорода Великого. В них сообщалось, что новгородские бояре и архиепископ Пимен принимали знатных псковичей, разговор вели об измене Москве и о переходе на сторону литовского короля, что якобы в этом деле замешан ближайший опричник государя, князь Афанасий Вяземский**. Афанасий три дня назад приехал в Вологду из Новгорода, куда был послан для набора ратников. Теперь Иван Васильевич нарочно не показывал виду, что знает о его измене и, повернувшись к нему, сказал:

— Афанасюшка! Пойдешь со мной, Василием Яковлевичем и владыкой Антонием*** в собор.

Пристально поглядел на остальных:

— Коли хотите, и вы ступайте.

Пятиглавый Софийский собор даже в такой пасмурный день был светел и величав. Царь щедро, не

* Щелкалов В. Я. с 1569 года находился при Грозном. Талантливый и умный царедворец, он пользовался безграничным доверием Ивана Васильевича.

** Вяземский Афанасий отличался невероятной жестокостью. Позднее по новгородскому делу и был казнен. Карательный поход на Новгород и Псков состоялся летом 1570 года.

*** Антоний — епископ Вологодский и Великопермский (похоронен в Софийском соборе).

жалая казны, заботился о его постройке. Хотелось Ивану Васильевичу, чтобы Софийский собор был украшением его царства, чтобы затмил он новгородскую Софию, чтобы выглядел не хуже Московского Успенского собора,—и добился того: со своими закомарными перекрытиями, строгими узкими окнами и большими входными порталами вологодская София была подобна чуду.

Стрельцы подкладывали доски под ноги государевы, чтобы не замарал пресветлый царь зеленые сапожки. У храма толпились старики-каменщики в коричневых армяках. При виде Грозного они сбросили с лохматых голов заячьи треухи и низко поклонились. Иван с ними поздоровался. В ответ пронеслось.

— И ты будь здоров, царь-государь!

Крестясь, вошел Грозный в сырость каменного собора, где, несмотря на зажженные восковые свечи, был полумрак. Стены еще не покрыты росписью, и епископ Антоний громко молвил:

— Как прикажешь, великий государь, из Устюга или Ярославля изографов звать?

Царь сдвинул брови:

— Ты архиерей, тебе и решать!

И вдруг кусочек кирпича оторвался от свода и упал на царскую голову. Он был очень мал, этот обломок, но голова у Ивана Васильевича была обрита и удар был неожиданным,—царь вскрикнул. Ему показалось, что сделано это с умыслом.

— Смерды!—стукнул он посохом по земле.—Разорить к утру соборную постройку, чтобы камня на камне не осталось!..

— Не волнуйся, великий государь,—вкрадчиво сказал Афанасий Вяземский.—Твой указ самолично догляжу, а каменщиков, что верхнюю кладку клали,—в мешок и в реку, пускай вологодских ершей кормят!

— Хорошо, князюшка,—зло засмеялся царь.—Кому на роду написано—вологодских ершей, а кому—в Волхове новгородских щук кормить. Чуешь, Афанасий?

Вяземский побледнел.

Вологодский губной староста, двое зодчих и епископ Антоний упали на колени:

— Смилуйся, государь, смилуйся, пожалей нас, верных твоих сирот, не вели храм зорить!

Долго кланялись в ноги царю. Наконец Иван Васильевич несколько поуспокоился. Ему и самому стало жалко такой дорогой постройкой. Вспомнил, что надо торопиться в Москву, а оттуда в Новгород — бояр новгородских да владыку судить за измену страшную. Сказал:

— Ин быть по-вашему, но до моего повеления соборную церковь не освящать.

Взглянул на Вяземского:

— Со мной поедешь в Новгород, — вышел мрачный из собора. Велел подать коня. Помчался крепость осматривать, пугая по дороге встречных и поперечных. А после обеда и молебствия выехал в крытом возке из города, посадив рядом с собой Щелкалова*.

Окруженный опричниками и верховыми стрельцами, царский поезд навсегда покинул Вологду. Афанасий Вяземский ехал в одиночестве, но под бдительным приглядом стрелецкого сотника.

Грозный сидел в повозке насупившись. У ближней вологодской деревеньки спросил Щелкалова:

— А что, Яковлевич, жаль бы тебе было Софии?

— Жаль, государь, — ответил дьяк, — красота-то какая!

Накрапывал дождь. Возок государев трясло на ухабах. Стрельцы зажгли смоляные факелы, и в сгустившихся сумерках зловещим казался их свет.

ЦАРЕВНА КСЕНИЯ

У царевны Ксении были длинные черные косы и легкая скользящая походка. Она обладала красивым грудным голосом и сочиняла печальные песни. В семнадцать лет судьба нанесла царевне первый болезненный удар: ее жених, юный заморский корольевич, умер перед самым бракосочетанием в Москве. Через два года она оплакивала неожиданную смерть своего отца — царя Бориса. А вскоре изменники-бояре удушили царицу-мать и брата — наследника престола.

Ксения, бледная, почти без сознания, видела, как топтали сапогами царевича Федора и как в послед-

* Этот неожиданный отъезд Грозного послужил темой известной народной песни, записанной в Вологде в 1841 году профессором М. П. Погодиным.

ний миг он выплюнул кровью имя сестры — ее имя. Она долго не забудет, как с грубыми площадными шутками кружились вокруг нее пьяные убийцы. Но все же ее не убили. Она осталась жить для того, чтобы приехавший рыжий, приземистый, с бородавкой на носу человек, называвший себя сыном Грозного — Дмитрием, царем московским, приказал привести ее в свою опочивальню.

...Утром, обессиленная, с распущенными косами, она сидела в своем тереме и пела:

Ино боже, спас милосердой!
За что наше царство потибло,
За батюшково ли согрешение,
За матушкино ли немоленье?

Снова и снова приходил рыжий самозванец, смеялся, бряцал серебряными шпорами и саблей и заставлял царевну танцевать с ним мазурку.

Сенные девушки, расчесывая длинные царевнины косы, плача, рассказывали о бесчинствах ляхов в Кремле и Белом городе. Девушки пели протяжные русские песни, и Ксения чувствовала некоторое успокоение.

Однажды ко лжецарю пришло витиеватое послание вельможного пана Мнишек. При встрече Дмитрий сказал Ксении:

— Моя любезная панна-илемянница, тебе придется на время уехать из Москвы, но я тебя не забуду и скоро верну обратно.

Он засмеялся и обнял царевну. Та вырвалась из его объятий и хлестко ударила Дмитрия по щеке.

Больше она его не видела. Ее везли в закрытом возке на Вологду, к Северскому озеру, в край вечно зеленых сосен и тонких, как невесты, березок. В глухом монастыре* под печальный перезвон колоколов на нее надели черную мантию, дав новое иноческое имя — Ольга.

Она сидела в маленькой душевной келье, где пахло лампадным маслом, смотрела в оконце на монастырский сад и тоскливо пела о своей погибшей молодости:

После царского нашего житья,
После батюшкова представления,
А света Бориса Годунова...

* Бывший Горичский монастырь (Кирилловский район Вологодской области).

Царевна вскоре узнала, что в Москве самозванца прикончили во время восстания в Кремле.

На московский престол взошел боярский царь, хитрый, честолюбивый старик Василий Иванович Шуйский. Он приказал перевезти прах Годуновых, зарытых, как собаки, на окраине Москвы, в Троице-Сергиевскую лавру и вернул из монастыря царевну Ксению.

Шуйский ласково принял Ксению. Предложил ей жить в Москве, но она отпросилась в лавру, поближе к дорогим могилам.

В лавре царевна вышивала серебром и жемчугом, молилась, сочиняла протяжные песни. Она полюбила запущенный монастырский сад, и богомольцы часто видели стройную фигуру в черном полумонашеском одеянии, медленно расхаживающую по садовым дорожкам.

Монахи не тревожили царевну, и только изредка из Москвы к ней приезжали царские посланцы, привозили скромные подарки от царя и царицы, спрашивались о здоровье и уезжали.

Вместе с лаврой Ксении пришлось пережить долгую и героическую осаду. В 1608 году отряды тушинского самозванца под командой панов Сапеги и Лисовского обложили плотным кольцом монастырь, подвезли артиллерию и начали осаду.

Пан Сапега считался отличным воином. Он употребил все средства, весь полководческий талант, чтоб овладеть монастырем. Несколько раз войска бросались на приступ. Но монастырские стрельцы, крестьяне и монахи всегда отражали натиск.

Ни подкопы, ни ядра, ни голод не смогли сломить мужества русских людей. В эти грозные и томительные дни Ксения преобразилась. Она видела раненых, умирающих и убитых защитников лавры. Ее келья содрогалась от разрывов картечи.

Ксения перестала страдать от своих воспоминаний. Теперь было лишь одно: безмерная неугасимая любовь к защитникам крепости.

С утра она уходила на стены. Научилась перевязывать раны. Воины с благодарностью благословляли ее.

Ксении было тяжело. Иногда ей казалось, что на следующий день она не сможет встать, но, просыпаясь ранним утром, наскоро молилась и шла туда, где гре-

мели выстрелы и где измученные русские люди в мужицких сермягах, рясах и красных стрелецких кафтаных обретали бессмертие.

Однажды в скучный октябрьский день, когда по небу ходили свинцовые тучи и накрапывал мелкий надоедливый дождь, царевна почувствовала тяжесть в ногах и сильную головную боль. С трудом дошла до своей кельи, легла на жесткое ложе. Раздеться не было сил.

Видела, как келья наполнилась красноватым светом. Свет сгущался, становился осязаемым. Он был похож на адское пламя росписи страшного суда. Пламя проникало через веки. Она ощущала его на лице. Сквозь огонь к ней протянулись руки, длинные цепкие руки с синими ногтями. К ее лицу склонилась огромная голова с рыжими всклокоченными волосами и бородавкой на носу. Ксения хотела оттолкнуть голову, но не смогла. Она потеряла сознание. Это было началом тифозной горячки.

За Ксенией ухаживала жена стрелецкого сотника. Царевна билась головой о каменные стены и кричала от страшных видений. Пришлось ее связать...

Когда царевна встала после болезни, врагов уже не было. Стояла ранняя весна. В монастырском саду пахло липой и яблонями. Небо было голубым и прозрачным.

Ксения села на свою любимую скамью. Долго смотрела, как будто в первый раз видела небо, и зелень, и голубей, и старого стрельца с грязной повязкой на голове, стоявшего на валу. Она охватила все это жадным взором и вдруг заплакала от переполнившего ее сердце счастья жизни.

ВОЕВОДА ПЛЕЩЕЕВ

В семнадцатом столетии Вологда считалась одним из наиболее богатых центров Московского государства. Раны, нанесенные городу во время польско-литовско-шведской интервенции, благодаря его выгодному торговому положению, были довольно быстро залечены. Здесь насчитывалось несколько десятков дворов русского и иностранного купечества, много монастырских подворий и церквей, торговых лавок, около 1200 домов посадских людей.

Положение посадских, несмотря на кажущееся процветание торговли, было тяжелым. Писцовая книга 1627 года указывает, что «злодейские» налоги и поборы привели к тому, что 238 дворов «обезлюдели».

Иноземцы, свои бояре и воеводы в определенные сроки стригли горожан, как овец, стригли с шутками-прибаутками. Вологодский же воевода, боярин из знатной московской фамилии Леонтий Степанович Плещеев грабил своих пасомых в любое время года, грабил зло и бессовестно. Купцы и монастыри еще крепилась, но посадские совсем были разорены. Они даже неоднократно жаловались в Москву на «великие насильства» Плещеева.

«Посадские людишки» — мелкие лавочники, ремесленники — писали: «Мы от его воеводского самоуправства и злого умысла живем по своим дворам в запорах, в великом страхе и на торг выходить по своим промыслишкам не смеем».

О боярине Плещееве, любимце царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, историк того времени Олеарий говорил: «Сей Плещеев без меры драл и скоблил кожу с простого народа, подарками не насыщался, но егда тяжущиеся приходили к нему, то он высасывал у них мозг из костей до того, что обе стороны в нищих превращались».

Таков был глава и хозяин Вологды. Посадские и крестьяне окрестных деревень ненавидели воеводу. Даже служилые люди — дьяки, подьячие, хожалые и другие не жаловали боярина, так как последний приказывал «делиться» доходами с ним, а тех, которые старались обходить его, жестоко наказывал. В одной из челобитных в Земский приказ мы читаем: «Боярин дьяка бил и бороду драл и из съезжей избы выгнал».

Новые налоги все больше и больше отягощали простой люд. Тут были и «посошные», и «оброчные», и «соляные», и «запросные» обложения. Не случайно списки «беглых» в воеводской канцелярии росли из года в год.

Не один раз кланялись в челобитных вологжане царю Михайлу Федоровичу Романову, дабы убрал куда-нибудь в другое место боярина-воеводу, чтобы чего «худова» не получилось. И действительно, «худое» произошло.

Леонтий Плещеев, человек гневный, узнав от своих сыщиков о том, что среди посадских и окрестных крестьян зреет недовольство его правлением, решил наказать жителей. В 1632 году Вологда погорела. Причину пожара летописец определяет так: «Воевода Леонтий Плещеев град Вологду пожог, кроме посадов дальних».

Пожар причинил городу много убытков. Особенно пострадали посадские. Казна же оказывала скудную помощь бедным погорельцам и в то же время щедро помогала богатым.

Вскоре воевода Плещеев, опасаясь гнева посадских людей, уехал из Вологды.

Закончилась его карьера в Москве. Здесь Плещеев исполнял обязанности судьи Земского приказа (министративной юстиции). Его мздоимство было настолько велико, что москвичи возненавидели боярина. Будучи правой рукой царского фаворита боярина Бориса Ивановича Морозова, Плещеев никого не боялся.

Наконец народное терпение лопнуло, и в Москве в июне 1648 года произошло восстание. Во время крестьянского хода толпы народа окружили царя Алексея Михайловича и потребовали немедленной выдачи им для казни Морозова, Плещеева, Чистова и прочих «казнокрадов и мучителей».

Напрасно испуганный царь посулами стремился сохранить жизнь боярам. Он даже плакал и кланялся народу.

— Не отдашь Леонтия и прочих лихоимцев добром — возьмем силой, — кричали в толпе царю. — Весь дворец разроем, а Леонтия откопаем!

Приближенные царя сами вытолкнули Плещеева. Народ не дал ему дойти до лобного места. Леонтия убили по дороге.

Несколько дней Москва была во власти народа, который вымещал свои обиды ненавистным боярам и дьякам.

ПЕТР НА СУХОНЕ

Летним погожим днем народу на пристани — не протолкнешься. Реку Вологду загромождали баркасы, пахнувшие лесом и смолой. На большом корабле по-

блескивали пушки, суетились солдаты в зеленых мундирах и матросы в синих мешковатых кафтанах.

Под залпы мортир, подняв охристый московский флаг с пузатым двуглавым орлом, корабль снялся с якоря и двинулся на веслах по реке Вологде на Сухону.

Молодой царь — в простой, грубого сукна, куртке, на черных волосах — голландская морская кожаная шляпа. Попыхивая трубкой, стоял он у борта.

По обоим берегам Сухоны сплошной стеной сосновый бор.

— Макаров! — крикнул Петр.

К царю подбежал юноша в коричневом кафтане. У него было обветренное широкое скуластое лицо с маленькими серыми пронзительно умными глазами. Он снял с головы треух и почтительно:

— Что изволите, ваше царское величество?

Петр насупился:

— Кой раз вам приказываю, что токмо на церемониях именовать меня по титулу.

— Звиняюсь, Петр Алексеевич, запоматовал.

— Ну то-то. Скажи мне, сколь обширны здесь леса? Смотрю и мыслю — леса впрямь мачтовые, корабельные... И еще: какая рыба водится и что за тотемские соляные варницы?

Макаров — посадский из Вологды, хорошо знавший и грамоту и письмо, был примечен Петром еще в 1692 году. Что его ни спроси — все знал молодец: и как шлюзы строить, и как планы снимать, и какова история земли Вологодской. Недаром Макаров дружил с летописцем, служащим в Вологде у архиерея, Иваном Слободским.

И сейчас, стоя рядом с Петром, Макаров весело, непринужденно, что особенно нравилось Петру, рассказывал и о сухонской нельмушке, и о лесах, и о том, сколько и какого зверя в них обитает, и о соляных варницах, где работный люд мрет как мухи.

— Поистине, Петр Алексеевич, — говорил Макаров, — приказчики и надсмотрщики там — волки лютые. Не токмо тело, а и душу вынимают из людишек, что по осьмнадцать часов в сутки работают...

Петр помрачнел, маленький рот сложил в трубочку, свистнул:

— Вот уж сам погляжу...

— Поглядите, поглядите, все едино легче не станет...

— Несуразицу плетешь, Макаров! Несуразицу! — и отвернулся.

В каюте капитанской накурено — не продохнешь.

Петр налил в оловянную чарку «романей», что отдавала сивухой, закусил белозерским сущем.

— Алексашка! Ты уху рыбацкую едал?

Александр Данилыч Меншиков — пригож, затянут в мундир, на шее жабо кружевное, чисто выбрит, глаза бирюзовые, пальцы с длинными ногтями унизаны кольцами.

— Мальчишком едал, Петр Алексеевич, в Покровском на озере карасей ловили. Ух, караси! Не поверишь, господин адмирал, таких и у вас — в Немецкой слободе — на фриштык не подают, огромные карасищи, в сметане.

Франц Яковлевич Лефорт ласково:

— Вам, Александр Данилович, можно лишь позавидовать!

— Нет, Алексашка, рыбацкая уха — не караси в сметане! — засмеялся Петр, — не едал ты ее. Авось до Тотьмы ущицы попробуем.

И попробовали. Углядели деревушку, а на берегу сети на кольях сушатся, и мужики бородатые, лапотные, у лодок.

На шлюпке, захватив бочонок рома, поплыли к берегу.

Мужики, встречая гостей, кланялись и притворно ахали, — знали, чем больше удивления, тем тороватее гости будут.

— Пожалуйста, батюшки-бояре, сейчас мы неводишку закинем!

— Вы поскорее, черти, нам недосуг! — торопил Петр.

Тогда седой рыбак с бельмом на глазу сурово:

— Ты, парень, чертей-то не собирай, а ежели недосуг, то скатертью дорога.

— Ты потише, дед, — прикрикнул Александр Данилыч, — с царем разговариваешь!

Старик поклонился Петру:

— Прости, государь! Не чаял в таком обличии царское величество видеть.

— Ладно! — махнул рукой Петр, — невод закидывайте...

И уже дымился костер, и в большом закопченном чугуне кипела уха из нельмы, окуней и язей. Запах шел

такой дразнящий, что не выдержал царь: шерботой ложкой зачерпнул, попробовал, обжегся, глаза выкатил:

— Эх и уха знатная, Алексашка! Не чета твоим карасям в сметане.

Хлебали уху, угощали рыбаков ромом. Подошли жонки, им тоже Петр приказал поднести по чарке, а на прощание подарил деду серебряный рубль — целое состояние.

...Перед Тотьмой царь переоделся в мундир, натянул ботфорты со шпорами, опоясался портупеей со шпагой.

Встречали тотьмичи торжественно. Служили в соборной церкви молебен, а затем угощали. Петр и свита пили много, за столами шумели и веселые непотребные истории рассказывали при мужних женах, коих царь велел привести на обед. За ними особенно ухаживал Александр Данилыч, именуя их неведомыми прозвищами — «венер» и «цирцей», чем причинял конфузию.

На другой день гости посетили Спасо-Суморин монастырь. Съездил Петр и на соляные варницы, что на берегу речки Ковды.

Варницы произвели на него тяжелое впечатление. Полуголые людишки в грязных домотканых портах вываривали соль, поднимали из варниц тяжелые бадьи. От разъедающей соли, от неимоверной жары глаза у работных покрасневшие, воспаленные, гноятся, на теле язвы.

— О, дорогой Питер, это напоминает преисподнюю! — ужаснулся Лефорт.

Приказчики услужливо поддерживали Петра за локти, чтобы упаси боже пресветлый государь не свалился в яму, а по сухому, по мосточкам прошел.

Солевары кланялись царю, а на придворных смотрели исподлобья, их приветствия были вымучены: сзади стояли хожалые и десятники с палками для поднятия народной радости.

— Чем мужиков кормите? — спросил старшего приказчика царь.

— Да чем, ваше величество, соленой рыбкою, квасом, капустой, редькою, а в праздники — толокно с конопляным маслом.

— А ты, небось, не редьку жрешь! — посмотрел Петр на гладкое, сытое лицо приказчика, — видишь, какое хайло, все одно что игуменское седалище. Пришлю дьяка из Москвы, дабы ваше воровство выявить.

— Мы вашего величества холопы, как велишь, так и будет!

Царь самолично поднял тяжелую бадью с соляным раствором, вспотел страшно, мускулы напряглись. Вытащив бадью, протянул ладонь:

— Эй, главный, уплати!..

Приказчик из кошелья высыпал серебро на царскую руку. Петр подбросил серебряные монеты, и они рассыпались у ног приказчика.

— Ты мне уплати — сколько им платишь!

Приказчик побледнел, но не посмел послушаться.

Царь взял медяк и бережно положил в карман камзола.

— Дорогая денга! — сказал Меншикову.

К исходу четвертого дня пребывания в городе пошли дальше. Петр с корабельного мостика смотрел на Тотму. Дома и церкви утопали в пышной зелени. Улицы тянулись на взгорье, а с соборной звонницы мягко и весело перекликались колокола.

ИЗОГРАФ

Лысый протопоп, снимая епитрахиль, сердито спросил:

— Доколе своей образиной храм божий пакостить будешь?

Человек в коричневом кафтане, с лицом желтоватым, бритым и тоскливыми глазами, резко ответил:

— Доколе не сдохну.

В храме было холодно, сыро. Сквозь решетчатые окна сочился белый туманный рассвет. Он казался молочным и слабо освещал стены храма. От этого молочного полусвета блекли переливчатые тона красок на фресках. Синие, пурпурные, золотисто-лимонные, они уходили к церковному куполу и там замирали.

Протопоп важно пошел к выходу, снисходительно отвечая на поклоны редких прихожан. Старый дьячок в заплатанном черном подряснике торопливо гасил мерцающие лампадки. Высокий худощавый ктитор, с козлиной бородкой, в сером кафтане, недовольно пересчитывал свечную выручку.

Протопоп подошел к нему и густой октавой спросил:

— Скудная лепта, Петрович?

Ктитор, что не шло к его высокой фигуре, тоненькой фистулой ответил:

— Гроши, отец протопоп!

Человек в коричневом кафтане вдруг засмеялся. Смех гулко отдался в стенах храма.

— Ты это чего, еретик? — удивился протопоп.

Человек посмотрел на купол. Там в сером тумане плыли золотистые кони, невиданные цветы и веселые святые.

— На козушку хватит? — и человек протянул руку к ктитору.

Тот плюнул в сторону.

— Иди, иди, — как-то испуганно проверещал он. — Иди, ради Христа!

Человек надел на растрепанные белесые волосы смешную рыжую треуголку и торопливо пошел к выходу. Вслед ему протопоп уронил:

— Пускать не след анафему!

Большая площадь тянулась от церкви к низеньким пузатым деревянным домишкам. Рыхлый талый снег хлюпал под ногами. По-весеннему кружились галки и вороны над обнаженными деревьями.

Засунув руки в карманы, человек шел по площади.

На углу был кабак. Человек дернул дверь, и его обдало запахом сивухи и пирогов.

*

* *

...Был год тысяча семьсот двадцать четвертый, март.

Ранним утром, прыгая на снежных ухабах, кожаная кибитка со слюдяными оконцами неслась к Вологде по Олонецкой дороге. Возница в овчинном полушубке, привстав на облучке, дико гикал на лошадей. За кибиткой едва поспевали сани: в них, подняв воротники полушубков, сидело двое преображенских солдат.

В кожаной кибитке было полутемно и стоял густой табачный дым. В неудобной позе — велик ростом — сидел пожилой мужчина, закутанный в меховой плащ. Треуголка от толчков сползла на ухо. Черные пряди волос лезли в глаза. Щетинистые усы двигались. В другом углу, в шубе и меховом чепце, дремала полная женщина.

Глаза мужчины закрыты. Вот он открыл их, и, черные с желтизной, они по-орлиному вспыхнули и снова закрылись.

Мимо мелькнули белые стены монастыря со сказоч-

ными башнями. На башнях сидели вороны и по-весеннему каркали. Снег мокро шлепал, отскакивал от конских копыт. Промелькнули пригородные амбары, постоянные дворы, каменная тюрьма, и по деревянному мосту кибитка ворвалась в город.

Церкви с золотистыми главками, церкви с синими куполами, церкви с шатровыми колокольнями стояли над тишиной деревянных одноэтажных и двухэтажных домиков.

Ближе к центру тянулись каменные палаты купцов, вросшие в землю лавки. Над всем городом царил великолепный белый собор с венценосным золотом пяти шлемов.

*
* *
*

Человек в коричневом кафтане вышел из кабака. Его широкое лицо с мясистым носом и полными красными губами оживилось. Серые глаза смотрели уверенно, и старая треуголка с повисшими краями надета уже замахиваясь набекрень. Он остановился на крыльце и посмотрел на церковь. Золотая луковка храма смело вонзала блестящий крест в серое небо.

— Ишь, куда лезет!.. — сказал человек.

В молочном тумане послышалось гиканье ямщика и конский топот. Взмывшая тройка остановилась у крыльца кабака.

Дверцы кибитки раскрылись, и показалась фигура высокого пожилого мужчины в меховом военном плаще. Он выпрямился во весь рост, плащ спустился с правого плеча, и закраснели отвороты зеленого мундира.

И тогда человек в коричневом кафтане взглянул в лицо военного. Кроме глаз, он ничего не видел. Глаза орлиные, черные, с желтоватым блеском.

Старая, с обвисшими краями треуголка сорвалась с головы. Белесые растрепанные волосы взметнулись по ветру.

— Узнал! — сказал военный густо и хрипло. И вздрагивающее в ответ:

— Узнал, ваше величество!

— Ну, коли узнал, тащи чарку анисовой и крендель!

Человек метнулся в дверь, забыв поднять треуголку. Через минуту он выскочил обратно. За ним бежал кабатчик, держа на подносе большую оловянную чарку с

вином и крендель. Царь взял чарку, выпил, отломил кусок кренделя, обтер обшлагом рукава губы и бросил серебряный большой рубль на поднос. Затем, повернувшись к человеку в коричневом кафтане, спросил:

— Из каких будешь?

— Изограф, сиречь мастер живописного дела, — прозвучало в ответ.

— Добро, — сказал царь, — Приходи ко мне на подворье.

Когда лошади отъехали, живописец поднял треуголку и, глядя вслед кибитке, тихо, как бы не веря себе, проговорил:

— Государь Петр Алексеевич!..

Его лицо просияло, и он почти побежал по мокрому лежалому снегу по направлению к церкви, все время повторяя:

«Государь Петр Алексеевич...»

*

* *

Когда живописец снова вошел в церковь, там никого не было, кроме дьячка. Положив на скамью кусок дегуи с толченым кирпичом, он начищал подсвечники. Работал с увлечением, любясь сверканием красной меди.

В церкви стало светлей. Притушенные утрям росписи сейчас по-молодому переливались радужными нежными тонами.

Дьячок, на мгновенье оторвавшись от своего занятия, взглянул на пришедшего живописца:

— Чего делать будешь?

— Государь Петр Алексеевич седни прибыл в Волгду, — сказал живописец.

— Ну? — спокойно произнес дьячок. — Как ему ездить-то не прискучило?! Годами, почитай, на шестой десяток пошло, и все спокою нет! — И укоризненно: — Прежде государи настоящие из палат царских не вылазили!

И опять усердно зашаркал суконкой по подсвечнику.

— А чем он не настоящий? — спросил живописец.

— Чем? — нехотя молвил дьячок. — И обличем, и рылом скобленным. Антихрист не антихрист, а вроде того! — И, уже не обращая больше никакого внимания на живописца, перешел к другому подсвечнику.

Живописец стоял посреди храма и смотрел на росписи. Каждый раз, глядя на эти живущие на стенах фрески, он не верил, что они созданы им. Казалось, кто-то другой, сидящий в нем, вдохнул жизнь в эти синие, золотистые, голубовато-нежные и пурпурные краски. Он ощущал движение фигур, бег золотистых коней, красоту невиданных арок, замков, шелест ярких деревьев, запахи лимонных яблок и свежесть перламутровых небес.

Вон там упоенно пляшет Саломея в сарафане московской боярышни. Алым фонтаном брызжет кровь из усеченного тела Иоанна Крестителя. Мудрый Соломон поет «Песню песней», и восемь львиц лежат на ступенях его мраморного трона.

Живописец поднял голову к куполу: золотой конь плыл по голубому своду. Гибкая смуглотелая Ева подавала яблоко Адаму. И было видно, как, нарушая библейские заветы, Адам не обреченно, а радостно протягивал руки к мерцающему желтому плоду.

Кружились в белых с синими разводами плащах серафимы, и, утверждая жизнь, упруго поправ пурпурные облака, трубили в серебряные трубы веселые архангелы.

А с купола взирал Саваоф и удивлялся, как и сам художник, этому яркому языческому празднеству плоти и жизни.

Живописец смотрел, и мягкая улыбка скользила по его губам. Новые, еще не собранные, но уже ощутимые образы готовы были воплотиться в сочетаниях красок. И хотя в храме было холодно и сыро, он чувствовал согревающее биение своего сердца.

*
* *
*

Петр Алексеевич вышел на крыльцо. Влажный весенний воздух. Сумерки. Талый снег. Обнаженные деревья. И проступающая сквозь пухлые облака луна.

Курил и смотрел, как струйка дыма таяла в вечернем воздухе. За эти два дня он устал от приемов городских властей, попов и обедов.

От комнат, низеньких, с теплыми голландскими печами, от давящей обстановки чинно расставленных парадных стульев, пузатых кофейников и вышитых салфеточек с цветным нерусским узором, тоска становилась еще

сильнее. Даже присутствие больной жены, ее разговоры с хозяйкой дома, старой голландской вдовой Гутман, раздражали. Сердце билось неровно, прерывистыми ударами. Чувствовал, что нижняя рубашка влажна от пота. Подумал: «Не помогли Марциальные воды...»

По талому снегу вышагивал солдат в полушубке, со старой алебардой в руке. Царь, взглянув на него, сказал кратко:

— Пошел вон, дурень!

Солдат испуганно поднял алебарду, для чего-то взял ее на плечо и попятился задом.

— Дурак, — сказал царь. — И на солдата не похож, Аника-воин.

Вспомнил, как посетил епископа Павла. Не узнал владыку: оплешивел, поглупел и растолстел. Когда в Петербурге от купели дочь Лизу принимал, был густоволосым, чернявым, веселым. Вздохнул: «На других посмотришь и поймешь, что годы назад не ворочаются». Трубка зло засипела — кончился табак. Царь выколотил золу и сунул трубку в карман.

На берегу, внизу за обрывом, молодой бабий голос запел: «Эх ты горе, горе горькое». К нему присоединился густой бас: «Горе горькое...» Голоса плыли над хмурой седой рекой красиво и печально. «Эх, и тяжело мне, сиротинушке», — поднимался выше женский голос. — «Без родного батюшки и без матушки», — вторил ей бас.

— Хорошо поют на Севере, — проговорил царь.

Совсем близко прохлюпали шаги. Прохлюпали и остановились.

— Ваше величество, — послышался тихий голос.

Царь не удивляясь спросил:

— Кто пустил?

— С берега реки до вашего величества пробрался. С городу-то охрана стоит.

— Это ты, живописец?

— Я, — прозвучало в ответ, и просяще: — К вашей милости государевой!

Передохнул и жарким шепотом:

— Червь и прах — перед лицом вашего величества, червь и прах.

На царя пахнуло запахом вина.

— Но мыслить, государь, сызмальства приучен, а окрест меня одни каменья, хоть голову расшиби — не поймут.

— Чего просишь? — царский голос был суров.

— Правды взыскую!

— Какой? И где ее предел?

— Несть предела. Правда конца и начала не имеет — всевечна она.

Царь засмеялся. Смех был колюч и резок.

— На чем правду утверждаешь?

— На претворении жизни!

— А как сие претворяется?

— Ваше величество претворяет ее славными деяниями, а яз недостойный — ремеслом своим. Каждый по своему разуму отечеству служит.

— И претворил?

— По силе своей претворил, а никто и знать про то не хочет. Велегласно смеются, перстами тычут, аки на разбойника. Я, государь, расписал храм Ивана на Рощене. Душу всю выложил, а одиноким остался.

Царь спросил повелительно:

— Толком скажи, чего надобно?

Человек упал на колени в снег:

— Пойдем со мной, государь, в храм, недалече тут, посмотришь...

И ответил просто царь:

— Пойдем!

За обрывом на реке певцы заканчивали: «...Не сыскать мне, бедному, талан-счастия, коль на сердце спрятано горе горькое...» И как бы подтверждая это, мужской голос уронил: «Горе горькое...»

*

* *

Долго будили в сторожке дьячка. Старик после всенощной спал крепко и проснулся нехотя. Надел стоптанные валенки, накинул подрясник на исподнее.

— Иисусе Христе, — зевая, проговорил он, высовываясь за дверь. Увидел солдата с алебардой, за солдатом стоял живописец и рядом с ним исполинская фигура в меховом плаще и военной треуголке.

— Чего надо? — грубо спросил дьячок.

Но когда солдат цыкнул на него, старик оробел:

— Прости, Христа ради.

Живописец подошел ближе и тихо на ухо дьячку:

— Государь тут. Бери ключ и отворяй храм.

Дьячок, взглянув на высокую фигуру, стремительно бросился в сторожку за ключом.

— Господи, — шептал он, разыскивая ключ. — Господи, спаси!

Через несколько минут тяжелая церковная дверь растворилась, и царь вошел во мрак, сырость и холод каменного здания.

Дьячок высек огонь, затеплил огарок и от него стал зажигать лампадки. И по мере того, как свет распространялся по храму, оживали, переливаясь, краски на стенах.

— Сим утверждаю! — дрожащим голосом сказал живописец, указывая рукой на фрески.

— Утверждаешь правду жизни?.. — спросил царь.

Он стоял, высокий, не снимая треуголки. Лицо было недовольно, обрюзгло, и темные с желтизной глаза смотрели поверх головы живописца.

Маняще улыбалась Саломея. Фонтан крови из усеченной главы Крестителя радостно вздымался кверху. Трубили в серебряные трубы попирающие облака архангелы. Пел «Песню песней» Соломон, и грациозные львицы простирались у его ног.

Зажженные паникадила, колеблясь от сквозняка, двигали фигуры на стенах, и, оживленные в гармонии красок, они кружились перед взором царя, а сверху, с купола, смотрел на них Саваоф и удивлялся.

Царь поднял голову и, взглянув на лик Саваофа, усмехнулся:

— Зело отменно!

Смех отдался в сводах и возвратился обратно.

— Проглядели, кудлатые, — уже спокойно произнес Петр.

Живописец замороженно смотрел на царя. Его лицо, озаренное светом лампад, было встревожено и полно ожидания.

— Тако выдумать, надо голову иметь! — сказал Петр.

Он достал из кармана трубку, набил табаком. Прикурив от свечки, что держал дьячок. Тот зашипел от негодования, мелким крестом осенил грудь. Государь прошел в алтарь.

— Дед! — крикнул оттуда неожиданно озорным голосом. — Тащи огня!

Дьячок, творя молитву и озлобленно поглядывая по

сторонам, исполнил приказ. Семь свечей вспыхнули желтоватым блеском и отразились таким же блеском в зрачках у государя.

В алтаре, как и в храме, радостно утверждала жизнь певучая гамма неумирающих красок. Перед взором царя плясали пророки, великомученики и просто мученики.

И царь снова сказал:

— Зело отменно!

Табачный дым, густой и терпкий, плыл из алтаря. Дьячок крестился и фыркал.

— Подойди, малый, — сказал Петр живописцу.

Живописец, трепеща, подошел.

Царь быстро взял его за плечо своей сильной рукой и улыбнулся.

— Готовься, — сказал, — поутру в Москву, а оттуда в Санкт-Петербург поезде. Будешь у меня парсуны писать и первого Данилыча изобразишь, чтоб плясал, как та девка на стене.

Еще раз затянулся дымом и, гремя шпорами, вышел из алтаря. Живописец едва поспевал за ним. На пороге притвора царь остановился, снова оглядел стены и весело проговорил:

— Правду молвил, здоров ты, парень, жизнь утверждать!

Луна смотрела из-за облаков. Спокойно спали приземистые домики, хлюпал снег под ногами.

*
* *

Царь, ложась спать, сказал Екатерине:

— Знаешь, Катя, где я был? — и на немой вопрос жены сам ответил: — Веселым святым молился. Един тут человек, живописец, великую мне милость оказал, великую: при всякой препозиции должно жизнь утверждать, должно!

Замолчал, посуровел.

— И покуда в груди моей сердце бьется — истину утверждать буду, Катя!

— Спи, Петруша, — сонно молвила Екатерина.

В соседней комнате на затейливых часах выскочила маленькая серебряная кукушка и кокетливо прокуковала двенадцать часов.

....А живописец шел домой. Он жил на том берегу реки.

Питербурх, столица, новый парадиз стояли перед его взором. В ушах звенел голос царя: «Зело отменно!». Сердцу было тесно в груди, и живописец закричал:

— Зело отменно!

Мятущийся крик его вырвался на простор мартовской блеклой ночи, и не было уже дороги. Живописец, размахивая руками, бежал вниз по снежному косогору. К реке. Лед местами потрескался. У самого берега была прорубь, в которой бабы по утрам полоסקали домотканое белье.

— Зело отменно! — победно прозвенел голос, и живописец вдруг почувствовал толчок, потерял равновесие. Пронизывающий холод охватил его крепкими объятиями. В последний миг, когда тело очутилось подо льдом, сердце дернулось порывисто сильным ударом, дернулось и остановилось...

Большая ворона опустилась на лед. Внимание ее привлек темный предмет, лежащий у проруби. Кособоко подпрыгивая, ворона приблизилась к нему. Скосила глаз и клюнула, затем досадливо каркнула и, тяжело взмахнув крыльями, полетела по направлению к собору.

У проруби осталась лежать смешная треуголка с обмякшими краями.

ПАРАДИЗ

То ли с непогоды, то ли с тоски — знобило. Все большое несуразное тело с длинными ногами, тощими в икрах, казалось лишним и ненужным.

В новом Зимнем дворце дуло изо всех щелей*. Сам следил, чтобы строили на совесть, да разве за жуликами усмотришь?

* В 1721 году у Зимней канавки был построен второй Зимний дворец (первый — в 1711 году), выходящий фасадом на Неву. Дворец — небольших размеров, имел высокую крышу и украшенный пилястрами фасад. В этом дворце 28 января 1725 года скончался Петр I. Нынешний Зимний дворец (архитектор Растрелли) — шестой по счету.

За окном был парадиз, по-русски — земной рай, созданный на костях, на поте, на крови.

Дождь. Ветер. Свинцовые волны... И тоска.

Россия. Отчина деда. Отечество, выстраданное кровью сердца и неустанной тяжелой работой. Да, работой! Ни часу, ни единого мгновения не переставал думать о ней. Кажись, скажи господь — шкуру свою не пожалел бы. Ремни дал бы резать. Дал бы! С превеликой радостью, ежели бы знал, что приумножат наследники славу и достояние России.

Застонал. Скрипнул зубами. Поднялся и подошел к столу. Налил в оловянную чарку из зеленой бутылки водку. Выпил. С блюда пальцами взял кислой капусты. Пожевал и выплюнул на пол — вкуса не почувствовал. Темнело. Дождь усиливался. Лохматые волны ходили по Неве.

Прислонился лбом к стеклу: «Мой город. Ах, какой он! Даже теперь — в дождь, ветер, в бурю, в грязь — люблю его. Думали ль прежние государи и толстопузые бояре, сидя в душной Грановитой палате, мечтали ль тугоумные, что вот здесь, в Чухляндии, с гордым дерзанием российские корабли в заморские страны пойдут? От сей еретической мысли карачун бы их хватил! Сиречь лишение языка. Ах, Питербурх, Питербурх! Парадиз мой милый! На кого я тебя оставляю, на кого?»

Сжал кулаки. Задышал резко, порывисто, стекло аж запотело. «Наследника подлинного, восприемника проектов моих нету. Внучонок млад еще. Кто же? Одни гусыни да рабы души. Почто с лишком пять десятков лет прожил? Почто государство устраивал? И закричал: «Почто тебя создал?!»

Вспомнил, как недавно, когда из Петрозаводска через Вологду проезжал, на подворье голландца Гутмана к нему приходил изограф, мастер живописного цеха, что храм Предтечи диковинными картинами расписал. Сам видел сие художество.

Петр наморщил лоб, припоминая слова живописца. Выпивши тогда был человек для храбрости. А лицом зело приятен — глаза серые, не дурацкие. Волосы белесые, с кудрецей. Одет сей молодец был в коричневую куртку сукна дерьмового. Треуголка мышам на смех — с обвисшими краями. Даже улыбнулся царь, представив фигуру живописца.

«Чего просишь?» — спросил его тогда. «Правду взыскую», — ответил тот.

Разговор у них получился сугубо философический — о претворении правды. Живописец говорил, что Петр сие претворяет славными деяниями своими, а он, недостойный, ремеслом своим, а про то никто и знать не хочет и перстами тычут, аки на разбойника.

— Аки на разбойника! — вслух сказал Петр. — Тако и выходит, ибо не всякому дано зрячим быть!

И как бы прозрение нашло, как бы оглянулся на все пройденное и спросил себя:

— Пошел бы вспять по проторенной дорожке отцов-государей, по-старому укладу, чтобы кондовое, бородатое, дремучее, вшивое царство лежало смердом распластанным у ножек его государевых, чтоб в гриднице от духа лампадного и мерцания свечек перед золочеными киотами в смиренной гордости пребывать? Нет, отрицаюсь. Пусть весь в крови, ни единого из дел моих не страшусь и на суде господнем нелицеприятному судье и всем его архангелам, сколь их ни на есть, скажу: все, что ни творил страшного, не для себя делал. Ни единой кровинки для себя не пролил, а за Россию и моря крови не жалко.

В соседней комнате осторожные шаги. Приглушенный кашель и шепот. За окном ветер, Нева. Шторм. Подумал: «Плохо в такую погоду на море... плохо... А мне хорошо? Хорошо мне?» Присел на стул. Из кисета достал щепоть черного крупной резки табаку голландского — набил коротенькую трубку. Крикнул:

— Эй, кто там?

В кабинет вбежало сразу двое: денщик Митрохин и дежурный поручик Скурятов.

— Огня, — приказал.

Внесли свечи, и Петр закурил. Крепкий запах распространился по комнате. Митрохин срывающимся голосом доложил:

— Беда, государь! Из адмиралтейств-коллегии рапорт: на Лахте матросы тонут...

— Ботфорты и теплый камзол!

Усталости как не бывало.

Вбежала Екатерина Алексеевна, простоволосая, в наспех накинутаю шали на голые плечи:

— Петенька, да куда же? Не пушу, болен ты.,,

Досадливо передернул плечами.

— Не мешай, Катя, слышала — матросы тонут!

— Да без тебя управятся, Петенька. Чать, поди, распорядились...

Перекосил лицо, задержал левым глазом и в яростном гневe грохнул:

— Молчать!

Катерина Алексеевна так и присела, а у остальных дух захватило. Как тут перечить?

Второпях разорвал камзол, треуголку косо на волосы надвинул и в ботфортах, гремя шпорами, несуразный, страшный загрохотал по комнатам так, что половицы задрожали.

На Неве вздымались свинцовые волны. Низко опустилось хмурое небо. А он, сидя на руле, осипше кричал:

— Сгною, мерзавцы! Так держать!

Тяжесть от головы отвалилась. Кругом бушевал шторм. А его одолевала только одна дума: как бы ловчее подплыть к утопающим... Словно сбросил двадцать лет с плеч, помолодел ипил леденящий ветер, как анисовку. Глотал всей грудью. Хватал людей за волосы, втаскивал в бот и кричал:

— Веселей, молодцы, веселей!*

Когда те, кого можно было спасти, были спасены, и он, весь мокрый, запарившийся, тяжело дышащий, правил обратно к пристани, вдруг почувствовал: это в последний раз. Всю жизнь в предчувствия не верил, над колдунами и знахарями смеялся, а тут поверил, и тело сразу обмякло, постарело, опустилось. Стало холодно и захотелось на лежанку, в теплоту, в забытье...

Не помнил уже, как попал в постель, как раздели, как натирали водкой и водку же вливали в рот. Ничего не помнил, хотел только одного, чтобы поскорей унялась лихорадка и можно было заснуть. А потом словно провалился в пустоту.

Лежал. Черные мокрые волосы разметались по подушке. Искривленный рот полуоткрыт. И даже в

* В Вологодском Петровском домике, где среди экспонатов находятся подлинные петровские вещи, имеется живописная копия с картины художника Штейбена «Петр спасает утопающих».

провале чувств, когда Екатерина подошла к нему, чтобы пощупать лоб, прошептал:

— Любимый мой, рай мой...

Екатерине сделалось страшно. Она окликнула его:

— Чего ты, Петруша? Кого ты зовешь?

Он открыл глаза. Посмотрел на нее, но не увидел и опять настойчиво ясным шепотом:

— Питербурх!

СОДЕРЖАНИЕ

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО. Цикл новелл

От автора	5
Свадьба	6
Семейная «идиллия»	11
Москва	13
На чужбине	16
Возвращение	25
На художественной выставке	29
Некрасов приехал	33
Редактор и издательница	37
Когда семья на даче...	39
Старая Русса	42
Сановник и писатель	46
Настенька	51
Манифест о войне	65
Великосветский базар	67
Курсистка	72
Последний путь Некрасова	82
Даровое	86
Дневник писателя	89
Надо жить	91
Девочка на тумбе	92
У великого князя	98

Вологодский ученик Достоевского	99
«Братья Карамазовы»	107

В СТАРОЙ ВОЛОГДЕ. Исторические миниатюры

Государев гнев	115
Царевна Ксения	118
Воевода Плещеев	121
Петр на Сухоне	123
Изограф	127
Парадиз	136

Владимир Степанович Железняк
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО

Для старшего школьного возраста

Редактор В. К. Лиханова
Рецензент В. А. Оботуров
Художник Р. С. Климов
Технический редактор Н. Б. Буйновская
Младший редактор Н. Н. Гаврилова
Корректор Н. К. Галкина

ИБ № 440

Сдано в набор 13.01.83 г. Подписано в печать 08.04.83 г. ГЕ04128.
Формат бум. $84 \times 108/32$ (бум. тип. № 3). Литерат. гарнитура.
Высокая печать. Физ. печ. л. 4,5. Усл. печ. л. 7,56. Уч.-изд. л. 7,56.
Тираж 15000. Заказ № 817. Цена 35 коп.

Северо-Западное книжное издательство,
Вологодское отделение, 160000, Вологда, Урицкого, 2.
Областная типография, 160000, Вологда, Челюскинцев, 3.